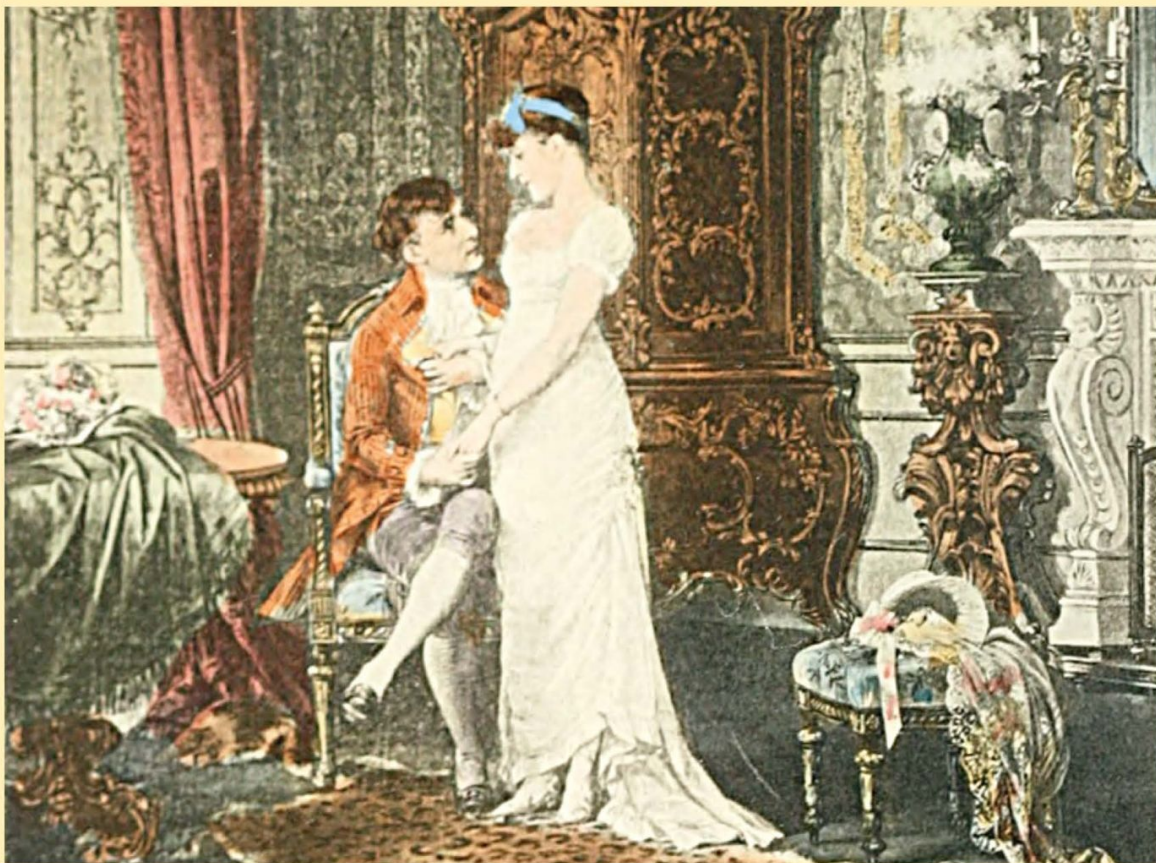




ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ

ГЕТЕ

*УЧЕНИЧЕСКИЕ ГОДЫ
ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Иоганн Вольфганг Гёте

Ученические годы
Вильгельма Мейстера

«Издательство АСТ»

1793-1796

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Гёте И.

Ученические годы Вильгельма Мейстера / И. Гёте —
«Издательство АСТ», 1793-1796 — (Эксклюзивная классика
(АСТ))

ISBN 978-5-17-184247-5

Зажиточный бюргер Мейстер вложил много сил в воспитание своего сына Вильгельма и надеется, что отпрыск продолжит семейное дело. Но влюбленный в театр и одну очаровательную актрису Вильгельм и не думает становиться коммерсантом — все его грезы лишь о мире искусства. Однако, узнав об измене возлюбленной, молодой Мейстер на три долгих года погружается в изучение коммерции. Но случайное знакомство с труппой бродячих комедиантов заставляет юношу вновь вспомнить о театре...

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-184247-5

© Гёте И., 1793-1796
© Издательство АСТ, 1793-1796

Содержание

Книга первая	6
Глава I	6
Глава II	8
Глава III	10
Глава IV	13
Глава V	14
Глава VI	16
Глава VII	19
Глава VIII	22
Глава IX	25
Глава X	27
Глава XI	30
Глава XII	32
Глава XIII	34
Глава XIV	38
Глава XV	41
Глава XVI	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Иоганн Вольфганг Гёте
Ученические годы Вильгельма Мейстера
Роман

Johann Wolfgang von Goethe
Wilhelm Meisters Lehrjahre

* * *

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Книга первая

Глава I

Представление длилось очень долго. Старая Барбара несколько раз подходила к окошку и прислушивалась, не застучит ли экипаж у подъезда. Она ожидала Марьянну, свою красавицу-госпожу, которая в этот день должна была восхищать публику в последней пьесе, где она играла роль молодого офицера. Барбара ожидала на этот раз госпожу свою с гораздо большим нетерпением, нежели прежде, когда она должна была только подать ей весьма умеренный ужин; и немудрено: она готовилась изумить Марьянну неожиданным подарком, который прислал ей по почте Норберг, богатый молодой купец, желая этим доказать, что он и в разлуке помнит о своей милой.

Барбара, как старая слуга, как доверенное лицо, как советница, как посредница во всех связях и отношениях Марьянны, наконец, как ее домоводка, постоянно пользовалась правом распечатывания всех писем и посылок, приходивших на имя Марьянны; в этот вечер она менее, чем когда-либо, могла противостоять любопытству своему, потому что ей очень по сердцу приходилось расположение щедрого поклонника ее госпожи – гораздо более, нежели самой Марьянне. К величайшему удовольствию она и действительно нашла в посылке кусок кисеи и новомодные ленты для Марьянны, а для себя – кусок ситца, шейные платки и небольшой сверток денег. С каким удовольствием, с какой благодарностью вспомнила она об отсутствовавшем Норберге! Как деятельно и ревностно решила она и Марьянне о нем напомнить, напомнить ей обо всем, чем она ему обязана, и о том, чего он может ожидать и на что надеяться от ее преданности и верности ему!

Кусок кисеи, оживленный ярким цветом полуразвернутых лент, положен был, как рождественский подарок, на столике, свечи были именно так поставлены, чтобы как можно выгоднее осветить присланные обновки, и все было приготовлено к приходу Марьянны, когда старуха услышала ее шаги на лестнице и поспешила ей навстречу. Но каково же было ее изумление, когда госпожа ее в своем офицерском костюме, не обращая внимания на ее приветствия, прошла мимо нее, вошла в комнату, с необыкновенной поспешностью и волнением бросила на стол свою шпагу и шляпу с пером, беспокойно стала ходить взад и вперед и даже не взглянула на торжественно горевшие на столике свечи.

– Что с тобой, голубушка! – воскликнула в изумлении старуха. – Ради самого Господа, скажи ты мне, дружок, что случилось? Посмотри-ка ты сюда, на эти подарки! Ну от кого бы они могли быть, как не от твоего лучшего друга? Норберг посылает тебе кусок кисеи на капот; скоро и сам обещается быть. Мне сдается, что он еще никогда не бывал так щедр и так привязан к тебе.

Старуха было повернулась и хотела уже показать и те подарки, которыми Норберг ее удостоил; но Марьянна вдруг отвернулась от подарков и вскричала в страстном порыве:

– Прочь! прочь! Сегодня я ни о чем этом слышать не хочу. Я тебе повиновалась, когда ты того хотела, и пусть будет так! Когда Норберг вернется, я опять буду принадлежать ему и тебе, и тогда делай со мной что хочешь! Но до тех пор я хочу принадлежать себе, и если бы ты могла говорить не одним языком, а целую тысячей языков, ты все же не отклонила бы меня от моего решения, так как я хочу отдать всю себя тому, кого я сама люблю и кто меня любит. Ты напрасно хмуришься! Я повторяю тебе, что хочу предаться этой страсти – и предаться так, как будто ей суждено длиться вечно.

Старуха принялась опровергать ее и доказывать ей, но так как при дальнейшем разговоре стала горячиться и говорить с особенной горечью, Марьянна бросилась к ней и обняла ее. Старуха громко засмеялась в ответ на эту ласку.

– Я позабочусь, – сказала она, – о том, чтобы вы поскорее опять надели длинное платье, а то еще, пожалуй, и жизнь моя может подвергнуться опасности. Долой это платье, разденьтесь скорей! Я уверена, что вы, снова обратясь в молодую девушку, станете извиняться перед мной за все то горе, которое вы мне причинили теперь, как ветренный офицерик. Долой это платье, и пусть все вместе с ним будет забыто! Оно вам неудобно, к тому же вредно на вас действует, как я замечаю: аксельбанты придают вам много лишнего жара.

И старуха уже наложила было на нее руку, но Марьянна вырвалась.

– Не спеши, – сказала она, – я еще жду сегодня гостей к себе.

– Вот уже это-то нехорошо, – возразила старуха. – Кого же вы ждете? Конечно, не того молодого, нежненького, безбородого купеческого сынка?

– Именно его, – ответила Марьянна.

– Кажется, великодушие начинает у вас брать верх над всеми страстями, – насмешливо сказала старуха. – Вы с большим рвением принимаетесь за беззащитных и недостаточных. Ведь должно быть очень приятно, когда нам поклоняются, как бескорыстной.

– Можешь насмехаться, сколько тебе угодно! Я люблю! я люблю его! С каким восторгом произношу я впервые эти слова! Вот она, та страсть, о которой я так часто думала и о которой не имела никакого понятия. Да, я хочу броситься ему на шею! Хочу обнять его так, как если бы я навеки хотела удержать его в своих объятиях! Я хочу показать ему всю мою любовь, хочу вполне насладиться всею его любовью!

– Умерьте себя, – спокойно сказала старуха, – умерьте. Я вашу радость одним словом прекращу: Норберг должен скоро приехать. Недели через две он непременно здесь будет. Вот его письмо, приложенное к подаркам.

– Да если бы даже и раннее утреннее солнце должно было разлучить меня с моим милым, разве я это стала бы скрывать от себя! Две недели – да это ведь целая вечность! Мало ли что может случиться или измениться в течение двух недель!

Вошел Вильгельм. С какой быстротой бросилась она ему навстречу! С каким восторгом обхватил он этот красный мундирчик, прижал к груди своей белый атласный камзолчик Марьянны! Кто бы мог решиться все это описать! Да и кому же удалось бы словами изобразить блаженство двух любящих! Старуха, ворча, отошла в сторону. Удалимся и мы вслед за нею и оставим счастливых наедине.

Глава II

Когда Вильгельм на другое утро пришел поздороваться со своей матерью, она объявила ему, что отец очень сердит на него и, вероятно, вскоре воспретит ему ежедневное посещение театра.

– Хотя я и сама иногда очень охотно хожу в театр, – продолжила она, – однако все же часто готова была бы клясть его, так как мое домашнее спокойствие нарушается твоим неумеренным пристрастием к этому удовольствию. Отец твой все только и говорит о том, на что может это пригодиться и как можно так много напрасно тратить времени!

– И я то же самое уже выслушал от него, – ответил Вильгельм, – и, может быть, слишком резко отвечал ему, но ради самого Бога, матушка, подумайте: неужели же все то может быть названо бесполезным, что не доставляет нам непосредственно денег в карман, что не приводит нас быстро к обладанию какими-нибудь благами? Разве нам недостаточно было места в старом доме и непременно понадобилось строить новый? Разве не тратит отец ежегодно значительную часть своего барыша на украшение комнат? Эти шелковые обои, английская мебель – разве они тоже не бесполезны? Разве не могли бы мы обойтись и другими обоями и мебелью, похуже этих? Я, по крайней мере, сознаюсь, что на меня производят просто неприятное впечатление эти полосатые стены, эти сотни цветов, эти расставленные повсюду шкатулочки и фигурки; все это мне как раз напоминает занавес нашего театра. Но только я перед тем занавесом сижу с совершенно иными впечатлениями. Как бы долго ни пришлось перед ним прождать, а все же знаешь, что он наконец-таки поднимется и придется увидеть за ним на сцене самые разнообразные предметы, которые способны нас рассеять, просветить, возвысить.

– Да умей же наслаждаться этим умеренно! – сказала мать. – Ведь и отец тоже ищет рассеянья вечером; притом же он думает, что это тебя отвлекает от дел, и в заключение всего, когда он бывает на тебя сердит, вся вина обрушивается на меня. Сколько раз пришлось мне выслушивать от него упреки за ту проклятую кукольную комедию, которую я двенадцать лет назад подарила вам на Рождество: ведь вы с тех-то пор и пристрастились к театру!

– О, не браните эту кукольную комедию! Не раскаивайтесь в вашей любви и ваших заботах о нас! Ведь то были первые приятные мгновения, какими мне удалось насладиться в новом, пустом нашем доме! Я и теперь еще, кажется, вижу перед собой то время... Помню я, как странно мне это показалось, когда после получения обычных рождественских подарков нам велели сесть перед дверью, которая вела в другую комнату. Дверь отворилась, но не за тем, чтобы только просто отпираться и запираться, как прежде, – она была заставлена чем-то таким, чего мы никак не ожидали: перед глазами нашими за дверью возвышался портал, задернутый таинственным занавесом. Сначала мы все стояли в отдалении, но когда любопытство наше возросло и мы захотели было поближе рассмотреть, что такое блесит и шевелится за полупрозрачным покровом, тогда каждому из нас указали на стульчик и приказали терпеливо выждать. Все мы уселись и притихли. Звук рожка подан был условный знак, занавес взвился, и глазам нашим представилась внутренность какого-то храма, размазанного ярко-красной краской. Первосвященник Самуил явился на сцене с Ионафаном, и их попеременные, странные голоса возбудили во мне особенное уважение к ним. Вскоре после того на сцену выступил Саул, смущенный наглостью того воина неприятельской армии, который явился вызывать на бой его и всех его соратников. И как мне стало весело, когда маленький сын Иессея выскочил из-за кулис со своим пастушьим посохом, пращой и сумой и сказал: «Великий государь! Пусть никто не смущается этим вызовом! Если вашему величеству угодно будет мне позволить, то я пойду и вступлю в бой с этим великаном». Этим заканчивался первый акт, и зрителям очень хотелось знать, что будет далее; каждому хотелось, чтобы музыка поскорее смолкла. Наконец занавес опять поднялся. Действие открылось тем, что Давид обещал тело чудовищ-

ного противника своего бросить на съедение зверям земным и птицам небесным; филистимлянин издевался над ним, долго и много топал ногами, наконец повалился, как чурбан, и много способствовал этим благоприятному исходу дела. Когда же после того девы запели: «Саул побил тысячи, а Давид – тьмы!», когда громадную голову великана понесли с торжеством перед маленьким его победителем, когда за него выдали замуж прекрасную царскую дочь, я все же ужасно стал досадовать на то, что при всем своем счастье и удаче этот удалец так походил на карлика: громадность Голиафа и малорослость Давида были, конечно, преувеличены и доведены на сцене кукольной комедии до крайности. Но скажите же, пожалуйста, куда девались эти куклы? Я обещал показать их одному моему приятелю, который еще недавно с большим удовольствием слушал мои рассказы об этой нашей детской забаве.

– Меня нимало не удивляет то, что ты так живо все это помнишь: ты и тогда тотчас же принял в этой игре самое горячее участие. Помню я, как ты у меня выманил книжку, по которой наизусть выучил всю пьесу. Я только тогда это уже заметила, когда ты однажды вечером слепил себе Голиафа и Давида из воска, заставил их между собой разглагольствовать, потом ударил великана и безобразную голову его насадил на большую булавку с вощеной головкой, которую и прилепил к руке Давида. Мое материнское сердце невольно радовалось тогда тому, что у тебя такая хорошая память, что ты тоже умеешь говорить с таким выражением, и я тогда же решила сама передать тебе всю труппу деревянных кукол. Я тогда и не думала о том, что мне это принесет столько горя!

– Не сожалейте об этом! – отвечал ей Вильгельм. – Ведь эти игры принесли нам тогда так много удовольствия.

И он себе выпросил у матери ключи, поспешно удалился из комнаты, отыскал кукол и на мгновение перенесся в те годы, когда представлял их живыми, когда воображал себе, что оживляет их живостью своего голоса, движением рук своих. И он унес их к себе в комнату и тщательно спрятал.

Глава III

Если первая любовь, как вообще утверждают, представляет собою прекраснейшее из всего того, что сердце когда-либо способно испытать, то мы, конечно, должны считать героя нашего втройне счастливым, так как ему суждено было вполне и всецело насладиться блаженством этих единственных мгновений. Лишь очень немногим выпадает на долю такое счастье, а по большей части нашим первым впечатлениям приходится пройти такую тяжелую школу, которая, не дав нам ничем насладиться вполне, вынуждает нас отказаться от наших лучших стремлений и навсегда научиться лишать себя того, что сначала являлось нам верхом счастья.

На крыльях воображения вознесся Вильгельм в своем пламенном стремлении к очаровательной девушке. После непродолжительного знакомства с нею он заслужил ее расположение, он достиг обладания той особой, которую не только очень любил, но и уважал. Она явилась ему впервые среди благоприятной обстановки театрального представления, и его страсть к сцене слилась в нем с чувством первой любви к женщине. Юность его давала ему возможность испытать многие радости, и чувство наслаждения поддерживалось, развивалось в нем живым поэтическим даром. Самое положение его возлюбленной придавало ее обращению с ним такое настроение, которое значительно способствовало развитию его впечатлительности; опасение, что ее возлюбленный может легко узнать о ее прежних связях, придавало ее отношению к нему милый оттенок стыдливости и какой-то озабоченности; сильна была в ней страсть к нему, самое беспокойство, казалось, еще быстрее увеличивало нежность ее – и она была в его объятиях прелестнейшим существом.

Когда он успел очнуться от первых опьяняющих порывов восторга и оглянулся на свою прежнюю жизнь, все представилось ему в ином, новом виде: обязанности явились ему более священными, чем прежде, наклонности его высказались резче и живее, знания его обозначились явственнее, таланты сказались в нем сильнее, и в намерениях явилось более решительности. Вот почему ему нетрудно было так распределить свое время, что и упреков отца он мог избежать, и мать свою успокоить, и любовью Марьянны наслаждаться совершенно спокойно. Он очень аккуратно и прилежно стал заниматься поутру своими делами, перестал бывать в театре, был вечером весел и разговорчив за ужином, а когда все, бывало, улягутся, он закутылся в свой плащ, тихонько уходил в сад и неудержимо стремился к своей возлюбленной, неся в груди своей всех Линдоров и Леандров¹.

– Что это вы принесли с собой? – спросила Марьянна, когда он однажды вечером вынул из-под своего плаща какой-то узел, на который старуха, в ожидании приятных приношений, посмотрела очень внимательно.

– Не угадаете, – ответил Вильгельм, и как же изумилась Марьянна, в какое негодование пришла Барбара, когда из развязанной салфетки выложил он целую кучу кукол средней величины!

Марьянна стала громко смеяться, когда Вильгельм принялся распутывать перемешанные проволоки и стал ей показывать каждую фигуру отдельно. Старуха с досадой отошла в сторону.

Не много нужно, чтобы доставить развлечение двоим влюбленным – и так друзья наши прозанимались тот вечер самым лучшим образом. Маленькая труппа была пересмотрена, каждая фигура рассмотрена в отдельности, и каждая послужила поводом к шуткам и смеху. Особенно не понравился Марьянне царь Саул, в черном бархатном плаще и с золотой короной на голове. Она говорила, что он кажется ей слишком напыщенным, слишком педантичным. Зато ей понравился Ионафан, со своим гладким подбородком, своей изжелта-красной одеждой и чалмой. Его сумела она и заставить вертеться на проволоке, и кланяться и даже изъяснялась

¹ *Линдор* и *Леандр* – имена, дававшиеся почти исключительно героям романов в то время.

за него в любви. Напротив того, на пророка Самуила не обратила она ни малейшего внимания, хотя Вильгельм и старался ей расхвалить его нагрудник и рассказывал при этом даже, что двучичное тафтяное его полукафтанье выкроено было из старого платья его бабушки. Давид показался Марьянне слишком мал, а Голиаф слишком велик. Она осталась при своем Ионафане. Она так хорошо умела с ним управиться и под конец перенести свои ласки с куклы на нашего друга, что и на этот раз игра и шутки только предшествовали блаженству.

Шум на улице заставил их очнуться от того сладкого усыпления, позабыть о тех нежных грезах, которым они предались. Марьянна кликнула старуху, которая, по своему обыкновению, занята была пересмотром театрального гардероба своей госпожи и старалась кое-что из старого переделать в применении к костюму следующей пьесы. Старуха сообщила, что из соседнего итальянского погреба только что вышла веселая компания, которая лакомила там привезенными свежими устрицами, щедро поливая их шампанским.

– Как жаль, – сказала Марьянна, – что нам это прежде в голову не пришло. Мы бы тоже могли себе оттуда достать чего-нибудь.

– Ну, время еще не ушло, – ответил ей Вильгельм и подал старухе луидор. – Вот если она добудет нам того, чего нам хочется, так мы с нею и поделимся своим ужином.

Старуха распорядилась очень проворно и спустя очень немного времени перед влюбленными стоял красиво накрытый стол с весьма недурным ужином. Старуху тоже заставили сесть за стол; все пили, ели и чувствовали себя очень хорошо.

В подобных случаях обыкновенно не бывает недостатка в разговорах. Марьянне опять пришлось толковать о своем Ионафане, а старуха очень ловко сумела навести разговор на любимую тему Вильгельма.

– Вы, – сказала она, – как-то раз уже рассказывали нам о первой какой-то кукольной комедии на Рождество. Тогда показался мне ваш рассказ чем-то очень веселым, и вы прервали его именно на том, что должен был начаться балет. А вот теперь мы, кстати, и ознакомились с теми действующими лицами, которые все это производили.

– Да-да, – заметила Марьянна, – расскажи-ка нам, что было далее.

– Ах, как это бывает приятно, милая Марьянна, – ответил Вильгельм, – когда мы вспоминаем о прошлом, о наших прошедших невинных заблуждениях, особенно когда это случается с нами в такие минуты, когда мы счастливо успели достигнуть известной высоты, с которой можем оглянуться назад и обозреть пройденный нами путь. Да, приятно с самодовольством вспоминать о некоторых препятствиях, к которым мы часто и с таким болезненным чувством относились как к непреодолимым, и, вспоминая это, сравнивать себя в настоящем, вполне развившихся, с тем, что были мы прежде, не вполне развившимися. Но я считаю себя особенно счастливым именно теперь, когда могу с тобою говорить о своем прошлом, и потому именно, что я в то же время могу заглянуть и вперед, в то очаровательное будущее, которое мы можем пройти с тобою рука об руку.

– Ну, так как же был тот балет устроен? – перебила его старуха. – Я думаю, не все так сошло в нем, как бы следовало.

– О нет, – возразил Вильгельм, – все шло очень хорошо! На всю жизнь сохранилось у меня темное воспоминание об этих дивных прыжках мавров и мавританок, пастухов и пастушек, карликов и карлиц. Вслед за тем занавес опустился, дверь захлопнулась, и все маленькое общество зрителей отправилось спать в совершеннейшем упоении, но я однако же очень хорошо помню, что не мог заснуть тотчас, требовал, чтобы мне и о том, и о другом рассказывали, задавал разные вопросы и весьма неохотно отпустил ту няньку, которая нас укладывала в постель. На другое утро, к сожалению, волшебные подмостки снова исчезли и таинственного занавеса тоже как не бывало; через ту дверь опять открылся обычный и свободный проход из одной комнаты в другую, и от вчерашних треволнений наших даже следа не осталось. Сестры по-прежнему бегали с игрушками наверх и сверху вниз, и только я один беспокойно шатался из

угла в угол: мне просто невозможным казалось, чтобы на том самом месте, где вчера мы видели столько очаровательного, волшебного, теперь остались только одни притолоки. Ах, даже и тот, кто ищет возврата утраченной любви, и тот не может быть несчастливее, чем я тогда был!

И он в то же время с упоением, со светлой радостью взглянул на Марьянну, и этот взгляд убедил ее в том, что он именно не опасается когда-либо утратить ее любовь.

Глава IV

– С той поры, – продолжил Вильгельм, – я желал только одного: видеть еще раз представление этой пьесы. Я стал приставать с просьбами к матушке, а она в удобную минуту старалась уговорить отца, чтобы он дозволил повторение этого представления, однако же старания ее оказались напрасными. Он утверждал, что только редкие удовольствия могут иметь значение и цену в глазах человека, что ни дети, ни старики обыкновенно не умеют придавать истинную цену приятному, если это приятное случается с ними ежедневно.

И пришлось бы нам, вероятно, ждать еще очень долго, если бы самый устроитель и тайный руководитель всего представления сам не изъявил желания повторить представление и при нем еще в конце прибавить новоизобретенный им фарс.

Один молодой артиллерист, очень талантливый юноша, особенно искусный в чисто механических работах, оказавший притом отцу весьма важные услуги во время построения дома, щедро вознагражденный за эти услуги отцом моим, вздумал об Рождестве отблагодарить отца моего, подарив семейству его вполне устроенный театр, который он когда-то на досуге клеил, вырезал и раскрашивал. Он-то и управлял куклами во время представления; при помощи нашего слуги он же, изменяя голос, говорил за кукол их различные роли. Ему-то, конечно, нетрудно было и отца уговорить – отец из любезности дал разрешение приятелю своему на то, в чем детям своим отказывал по убеждению. Одним словом, театр был снова установлен, приглашены некоторые из соседских детей, и пьеса повторена.

Если в первый раз меня радовала и изумляла неожиданность, то при втором представлении мною овладело сильнейшее желание все подмечать и исследовать. «Как все это делается?» – вот какой вопрос занимал меня теперь. Что куклы не сами говорили, это я сказал себе еще в первое представление, что и двигаются они тоже не сами собой, я это предполагал, но как же это все так хорошо сделано? Да и кажется, точно все-таки как будто они сами и говорят, и двигаются. Да и где же свечи? где люди? Все эти загадки тем более беспокоили меня, что я желал в одно время находиться и между теми, которые производили очарование, и между теми, которые были зрителями его, – и управлять игрой, и наслаждаться прелестью иллюзии.

Кончилась первая пьеса, стали делать приготовления к последней. Зрители поднялись со своих мест и заняты были разговорами. Я протиснулся к самой двери и по тому постукиванию, которое услышал на сцене, угадал, что там заняты были ее устройством. Я приподнял краешек коврика и заглянул за кулисы. Матушка моя заметила это и отвела меня от двери, однако ж я все-таки успел увидеть, как там и Саула, и Голиафа, не разбирая друзей от врагов, укладывали в один общий ящик, и это еще более подстрекнуло мое любопытство. Притом же я, к величайшему моему изумлению, увидел в этом святилище поручика-артиллериста – и увидел его очень занятым. После этого уже и тот шут, который вышел под конец на сцену, как он ни стучал об пол своими каблуками, никак не мог меня занять. Я погрузился в глубокие размышления, и открытие мое отчасти встревожило и отчасти успокоило меня. Узнав отчасти сущность дела, я только тут сообразил, что ничего не смыслил в происходившем перед моими глазами. И я был совершенно прав: у меня не было связного представления обо всем, а в этом-то и заключается вся суть.

Глава V

– В благоустроенных и порядочных домах, – продолжал Вильгельм, – дети часто ощущают то же, что, вероятно, должны ощущать мыши и крысы: они тщательно подмечают все щели и скважины, через которые является возможность добыть себе того или другого лакомства. Они наслаждаются этим наблюдением с теми скрытыми наслаждением и страхом, которые составляют до значительной степени счастье для ребенка.

Более всех моих братьев и сестер способен был я обратить внимание на какой-нибудь ключ – позабытый, оставленный в дверной скважине. И чем более чувствовал я уважения к запертым дверям, мимо которых мне в продолжение целых недель и месяцев приходилось ходить и за которые я имел возможность заглядывать лишь изредка – в то время, когда матушка моя отворяла их, чтобы вынести что-нибудь из скрытого за ними святилища, – тем более спешил я воспользоваться минутной забывчивостью хозяйки.

Само собой разумеется, что из всех запертых дверей более всего обращала на себя мое внимание дверь кладовой. Немногие радости жизни могут выдержать сравнение с тем ощущением, которое испытывал я, когда матушка призывала меня в кладовую, чтобы помочь ей вынести что-нибудь, и я в это время получал от нее или сам успевал стащить несколько сушеных слив. Нагроможденные там сокровища подавляли мое воображение своим множеством, и даже самый запах, выдыхаемый множеством разных специй, хранившихся там, оказывал на меня такое сладостное влияние, что я уж никогда не упускал возможности хоть подышать атмосферой кладовой. И в этой-то дивной двери однажды утром в воскресенье, когда мать мою засуетили беспрестанные звонки, раздававшиеся в передней, – в скважине этой-то двери позабыла она ключ. Как только я это заметил, несколько раз осторожно прошелся мимо той стены, тихонько подобрался к двери, отворил ее и в мгновение очутился лицом к лицу с множеством давно желанных наслаждений. Я окинул ящики, мешки, коробки, жестянки и банки быстрым и нерешительным взглядом, не зная, что взять и выбрать из находившегося у меня под руками, наконец захватил своих любимых сушеных слив, запасся отчасти и сушеными яблоками и в довершение всего взял еще обсахаренную померанцевую корку. Я уже собирался было ускользнуть из кладовой с этой добычей, когда вдруг бросились мне в глаза два рядом поставленных ящика: из-под плохо притворенной крышки одного из них висели какие-то проволоки, загнутые на верхних концах крючками. Я бросился к ним, исполненный какого-то особого ожидания, и с каким же небесным ощущением открыл я, что эти ящики заключают в себе целый мир моих героев и моих радостей! Я хотел было приподнять верхних кукол, рассмотреть их, потом распутать и вытащить те, что лежали внизу, но очень скоро перепутал тоненькие проволоки. Это меня и обеспокоило, и напугало, тем более что кухарка стала в смежной с кладовой кухне двигать чем-то. Я все как мог поспешно сунул в ящик, накрыл по-прежнему крышкой и сунул в карман только лежавшую наверху ящика книжку, в которой написана была вся комедия о Голиафе и Давиде, и с этой-то добычей тихонько выскользнул из кладовой и забрался по лестнице на чердак. С той поры я употреблял втайне все принадлежавшие мне часы досуга и уединения на то, чтобы перечитывать много раз свою пьесу, выучил ее наизусть и в то же время стал представлять, как бы это было хорошо, если бы я притом еще мог и кукол оживлять движением пальцев. Я сам мысленно как бы обратился в Давида и Голиафа. Во всех углах дома, в конюшне, в саду, при всех возможных обстоятельствах я был исключительно занят полнейшим изучением пьесы, постигнул все роли и выучил их наизусть, сосредоточивая, впрочем, все внимание на важнейших героях пьесы и относясь к остальным только как к спутникам их. Так вот, у меня ни днем ни ночью не выходили из головы те геройские речи Давида, которыми он вызывал на бой высокомерного великана Голиафа; я часто бормотал их про себя. Никто не обращал на это внимания, кроме отца, который иногда замечал мои некоторые восклицания и

про себя, втихомолку был очень доволен тем, что его сынок обладает такою прекрасною памятью и так хорошо успел многое запомнить, прослушав так немного.

Все это более и более придавало мне смелости, и однажды вечером я перед моей матушкой продекламировал большую часть пьесы, слепив себе несколько кукол из воска. Она обратила на это внимание, начала настоятельно допытываться, и я ей во всем сознался.

По счастью, открытие это как раз совпало с тем временем, когда сам поручик выразил желание, чтобы ему было дозволено посвятить меня в эти тайны. Матушка тотчас известила его о неожиданно открытом во мне таланте, и он успел добиться того, чтобы ему предоставили в веденье те две комнаты верхнего этажа, которые почти всегда были пусты; одна из них, опять-таки, должна была вмещать в себе зрителей, другая – действующих лиц, а самая сцена устроена была снова в дверях. Отец дозволил своему приятелю все это устроить, а сам старался смотреть на все сквозь пальцы на том основании, будто бы детям никогда не следует показывать, до какой степени их любишь, чтобы они не забывались чересчур. Он полагал, что к их радостям следует всегда относиться с некоторой серьезностью, что не мешает даже изредка портить им удовольствия их, чтобы полное довольство не способствовало в них развитию неумеренности и высокомерия.

Глава VI

«— Итак, — продолжил Вильгельм, — поручик установил театр и позаботился обо всем остальном. Я очень хорошо заметил, что он несколько раз в неделю приходил к нам в необычное время, и до некоторой степени предугадывал его намерение. Я находился в чрезвычайно напряженном состоянии, которому особенно способствовало сознание, что мне не дозволено будет до субботы принять какое бы то ни было участие в том, что готовится наверху. Наконец настал желанный день. В пять часов вечера явился мой руководитель и повел меня с собой наверх. С радостным трепетом вступил я туда и по обеим сторонам кулис увидел кукол, повешенных в том самом порядке, в каком они должны были выходить на сцену. Я тщательно рассмотрел их, взошел на ступеньки, которые должны были дать мне возможность стать выше театра, и вот наконец я вознесся над этим маленьким миром. Я смотрел из-за дощечек, сверху вниз, с каким-то особенным благоговением: я еще находился под влиянием воспоминаний о прежних впечатлениях, вынесенных из наблюдений моих как зрителя, и с другой стороны — под влиянием сознания тех тайн, в которые меня собирались посвятить. Сделан был предварительный опыт, и дело пошло хорошо.

На другой день, когда на представление было приглашено небольшое детское общество, мы действовали превосходно; приключилась только одна беда: в самом разгаре действия я выронил из рук Ионафана и был вынужден доставать его снизу рукою. Этот случай сильно нарушил иллюзию представления, всех очень рассмешил, а меня самого крайне огорчил. Эта ошибка моя, по-видимому, особенно по сердцу пришлась отцу, который, конечно, не выказал нимало, что ему приятно было видеть сына своего таким искусным и ловким, — напротив того, по окончании пьесы он тотчас привязался к этой моей оплошности и сказал, что все было весьма недурно, если бы я не сделал тех и других промахов.

Это меня глубоко огорчило; целый вечер я прогоревал, но, конечно, на следующее утро, выпавшись, позабыл все свои вчерашние огорчения и утешался той мыслью, что я, за исключением этого несчастного случая, играл очень хорошо. Ко всему этому прибавилось еще одобрение и со стороны зрителей, которые утверждали, что хотя поручик и весьма хорошо подражает разным голосам, говорит то басом, то тоненьким голоском, однако же вообще дикция у него слишком однообразна и вычурна, — напротив того, дебютант декламирует своего Давида и Ионафана превосходно. Матушка моя особенно хвалила меня за искренность и свободу декламации, с какими читал я роль Давида, вызывающего Голиафа на бой, а потом представлял царю скромного победителя.

И вот, к величайшему моему удовольствию, театр оставлен был на месте, и так как дело подходило к весне, то я в часы досуга и игры оставался в комнате театра и постоянно заставлял кукол играть и двигаться. Часто призывал я наверх сестер своих и товарищей, но даже если они и отказывались приходить, я все же и один оставался наверху. Воображение мое работало сильно над этим маленьким миром, который вскоре должен был для меня совершенно преобразиться.

Едва только успел я несколько раз сряду сыграть ту пьесу, для которой театр мой был создан и предназначен, как уж она перестала меня радовать. К тому же еще случайно попались мне в руки, между дедушкиными книгами, „Немецкая Сцена“² и различные итальянско-немецкие оперы, в которые я очень углубился и каждый раз, бывало, только перечту сначала действующих лиц, да тотчас потом и приступаю к постановке новой пьесы. Пришлось царю Саулу,

² Издание Готшпеда (горячего защитника и пропагандиста так называемой ложно-классической теории в литературе) под заглавием «Немецкая сцена по правилам древних греков и римлян» (изд. 1740–1750 гг.). Тут печатались пьесы, подходившие по своему характеру к готшпедовскому взгляду на трагедию.

в его бархатном черном плаще, разыгрывать роли и Шаумигрема, и Дария, и Катона. Замечу еще при этом, что самые пьесы никогда не давал я целиком, а большей частью ограничивался только пятыми актами их, где обыкновенно дело вращалось около убийств.

Весьма естественно, что для меня более всего привлекательной казалась опера благодаря ее разнообразным приключениям и превращениям. В опере видел я на сцене и бурные моря, и богов, нисходящих из-за облака, и гром и молнии, которые меня особенно приводили в восторг. Я употреблял в дело и папку, и краски, и бумагу. На молнию мою смотреть было страшно, и только вот гром не всегда удавался, ну да не в том было главное дело. В операх, кроме того, более являлось возможности пустить в ход и Голиафа, и Давида, которые как-то не годились для обыкновенной драмы. Таким образом я каждый день более и более привязывался к тому небольшому местечку за сценой моего театра, которое принесло мне столько радостей, и я почти готов утверждать, что развитию этой привязанности немало способствовал самый запах, заимствованный куклами от долгого пребывания их в кладовой.

Декорации при моем театре находились в порядке, и их было достаточно. Мне на ту пору очень пригодилась та ловкость в обращении с циркулем, в умении вырезать папку и раскрашивать картины, которую я приобрел еще в детстве. Тем более было мне досадно, когда ограниченное число действующих лиц служило мне препятствием к исполнению больших пьес.

Сестры мои, занимаясь одеваньем и раздеваньем своих кукол, возбудили во мне мысль о возможности создать и для моих героев переменяющиеся костюмы. Собрали мы тряпочек, пораздели кукол, прикопили немного денег, понакупили новых ленточек и блесток, повыпросили, где было можно, разных кусочков тафты и мало-помалу создали такой театральный гардероб, в котором для дам были даже платья с фижмами.

Вот наконец труппа была снабжена и платьем, достаточным для представления самой большой пьесы, и казалось бы, что теперь-то именно и пойдут одни представления за другими, но со мною случилось именно то, что часто случается с детьми: они задумывают громадные планы, делают большие приготовления, даже кое-какие опыты, и при всем том дело не движется вперед. В этом недостатке я не могу не укорить себя. Более всего удовольствия доставляло мне придумывание как занятие для воображения. То та, то другая пьеса интересовали меня из-за какой-нибудь одной сцены, и я тотчас принимался по этому случаю за приготовление новых костюмов. При этом, конечно, первоначальные костюмы героев моих пришли сперва в беспорядок, потом их порастаскали, так что я уж не был в состоянии представить даже и одной какой-нибудь большой пьесы. Я совершенно предался своей фантазии, постоянно все только пробовал и готовил, строил тысячи воздушных замков, а между тем и не замечал, что я подорвал в самой основе свой маленький театр».

Во время этого рассказа Марьянна употребляла над собой все усилия, чтобы скрыть от Вильгельма то, что ей давно хотелось спать. Как ни забавны были вещи, о которых он рассказывал, однако они представлялись ей слишком уж простенькими, тогда как в то же время высказываемые тут взгляды Вильгельма были слишком серьезны и глубоки для ее понимания. Она нежно поставила свою ножку на ногу своего возлюбленного и выказывала ему внешними знаками свое внимание и одобрение. Изредка прихлебывала она из его стакана, и Вильгельм был убежден в том, что она не проронила ни одного слова во время его рассказа.

Помолчав немного, он вдруг воскликнул:

– Теперь твоя очередь, Марьянна, поделиться со мной первыми радостями твоей юности! До сих пор мы слишком были заняты нашим настоящим, чтобы взаимно полюбопытствовать и узнать наше прошедшее. Скажи мне, при каких условиях ты воспиталась? Какие помнишь ты первые живые впечатления?

Вопросы эти могли бы поставить Марьянну в большое затруднение, если бы старуха тотчас же не пришла ей на помощь.

– Вы, может быть, думаете, – сказала умная женщина, – что мы также замечали все, что с нами прежде случалось, что и мы тоже могли бы рассказать такие же случаи из жизни нашей? Да если бы даже и было что порассказать нам, так вы думаете, что мы бы сумели все так же хорошо передать, как вы передали?

– Как будто в этом главное дело! – воскликнул Вильгельм. – Я так люблю это милое, нежное, доброе создание, что меня досадует каждая минута моей жизни, проведенная без нее. Дай мне, по крайней мере, возможность хоть воображением проникнуть в твою прошлую жизнь! Расскажи мне все! Я сам все готов тебе рассказать. Мы постараемся обманывать себя сколько возможно и стараться хоть сколько-нибудь вознаградить себя за это утраченное для любви время.

– Коли вы так на этом настаиваете, так нам нетрудно будет удовлетворить вашему желанию, – сказала старуха. – Расскажите-ка вы нам сперва, как в вас развивалась постепенно охота к сцене, как упражнялись вы в сценическом искусстве, как, наконец, вы так удачно достигли того, что теперь, наконец, можете быть хорошим актером? Верно, при этом у вас довольно было и всяких веселых приключений? Теперь ведь уж не стоит ложиться; у меня же там есть в запасе еще бутылка, и кто же может сказать наперед, что нам еще раз и вскоре удастся так спокойно и приятно проводить вместе время?

Марьянна взглянула на нее печально. Вильгельм не заметил этого взгляда и продолжал свой рассказ.

Глава VII

«Развлечения юности несколько нарушили ряд моих уединенных, тихих удовольствий, тем более что и круг моих товарищей стал более и более расширяться. Я был попеременно то солдатом, то рыцарем, то охотником, смотря по тому, какое именно направление принимали наши игры, но я все ж и в этом отношении имел некоторое преимущество перед другими в том, что умел очень искусно производить для них необходимые принадлежности игр. Так, например, все мечи наши были с моей фабрики; я уже разукрашивал и разолачивал санки, и какой-то тайный инстинкт даже не дал мне покоя до тех пор, пока я всю нашу милицию не переделал в античное вооружение. Наделали мы шлемов, украсили их бумажными султанами, сделали себе щиты, даже некоторым и брони, и при этих работах слуги наши, которые отчасти были и портными, а также и швейки моей матушки переломали много иголок.

Таким образом, часть моих юных товарищей увидел я вполне вооруженными; остальные тоже, мало-помалу, но уже гораздо хуже, были вооружены впоследствии – и собрался у меня довольно порядочный отряд. Мы вместе маршировали всюду по дворам и садам, храбро бились мечами, причем удары сыпались на щиты, но иногда и на голову. Случались, конечно, при этом некоторые недоразумения, но которые, впрочем, очень скоро бывали устраняемы.

Эта игра, так сильно занимавшая всех товарищей моих, мне очень скоро прискучила и не стала более меня удовлетворять. Вид стольких вооруженных лиц должен был во мне неизбежно способствовать возбуждению рыцарского настроения, которое и действительно с некоторого времени начало овладевать мною, тем более что я тогда набросился на чтение старых романов.

Наконец „Освобожденный Иерусалим“, попавшийся мне в руки в переводе Коппа, придал определенное направление моей блуждающей мысли³. Всею поэмой я, конечно, прочесть не мог, но были места из нее, которые я заучил наизусть и которых образы постоянно носились около меня. Особенно привлекательной казалась мне Клоринда во всех своих проявлениях и действиях: ее женственное мужество, спокойная полнота ее существования более оказывали влияния на ум мой, только что начавший развиваться, нежели искусственные прелести Армиды, хотя я и не пренебрегал ее садом.

И сколько сот раз пересказывал я себе на память печальную историю поединка между Танкредом и Клориндой, когда, бывало, вечером хожу по балкону и смотрю оттуда на окрестность, а от закатившегося солнца осталась уже только одна светлая полоса на горизонте, звезды одна за другой проглядывают на небе, теплота начинает выступать из всех углов и углублений, и среди торжественной тишины наступающей ночи звонко разносится в воздухе трескотня сверчков.

Несмотря на то что я, разумеется, был на стороне христиан, я все же вполне сочувствовал героине-язычнице, когда она решилась сжечь большую башню осаждавших, и, вспоминая, как Танкред встречается с мнимым воином и ночью, среди мрака, начинается между ними жестокая битва, я никогда не мог произнести без того, чтобы слезы не навернулись у меня на глазах, стихи:

Клориды час пробил, нить жизни порвана,
И умереть она, несчастная, должна!

И я горько плакал, вспоминая о том, как несчастный любовник пронзает ей грудь мечом, снимает с нее шлем, когда она уже падает, узнает ее и с трепетом спешит принести ей воды для

³ «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо, в немецком переводе Коппа, был в числе книг, которые Гёте читал в самой ранней молодости.

того, чтобы она успела окреститься. Как горестно перевернулось у меня сердце в груди, когда прочел я, что Танкредов меч в очарованном лесу нанес также удар дереву и от удара потекла кровь, а неведомый голос шепнул ему, что он и здесь, еще раз, ранил Клоринду, что ему самой судьбой суждено всюду, не ведая того и не сознавая, наносить удары всему, что он любит!

Вся эта повесть до того овладела моим воображением, что все прочитанное мной из поэмы сложилось в неясное целое в голове моей и до такой степени заняло меня, что мне захотелось во что бы то ни стало представить это на сцене. Я хотел играть Танкреда и Ринальда и даже нашел два очень пригодных для этих ролей вооружения, еще прежде изготовленных мной: одно чешуйчатое, из темно-серой бумаги, должно было украсить собой важного Танкреда, другое, из золотой и серебряной бумаги, – блестящего Ринальда. Живо представив все это, я рассказал о своих планах товарищам, которые были от них в восхищении и только никак не могли понять, как все это будет представлено и как именно они все это станут изображать. Я очень легко рассеял все эти сомнения. Я тотчас избрал местом действия две комнаты в доме моего товарища-соседа, даже не сообразив, что старая тетка ни за что не согласится отдать их в наше распоряжение. Так же легко отнесся я и к устройству театра, о котором тоже не имел никакого определенного понятия, кроме того, что его следует устроить на подмостках, расставить на них кулисы в виде отдельных картонных стенок, а заднюю сторону сцены завесить большим платком. Но я в то же время и не подумал вовсе о том, откуда именно должны взяться все материалы и необходимые принадлежности для устройства сцены.

Только для устройства леса придумали мы хороший способ. Одного старого слугу нашего, который поступил в лесничество, мы попросили добыть нам молодых березок и елочек, и эти деревца, как на беду, доставлены были нам ранее, нежели мы ожидали. Этим мы были поставлены в крайнее затруднение: нужно было поставить пьесу поскорее, пока еще деревья не поблекли. Добрый совет и помощь были нам в то время необходимы: не было у нас ни места, ни театра, ни занавесов; налицо оказывались только картонные стенки для кулис.

В этом-то крайне затруднительном положении мы опять-таки обратились к поручику, которому мы подробно описали, как бы это все должно было выйти прекрасно. Хоть он и не слишком способен был понять нас, однако же тотчас пришел нам на помощь: собрал в небольшую комнату все маленькие столики, какие только можно было отыскать по соседству, составил их плотно один к другому, на них поставил боковые стенки театра, задний план завесил зеленым занавесом и обставил все кругом деревьями.

Между тем и вечер уж наступил; зажгли свечи, няньки с детьми расселись по своим местам, и представление должно было вскоре начаться. Все герои были уже в костюмах, и тут только стало понятно впервые каждому из нас, что никто не знает, что именно следует ему говорить. Занятый моими блестящими планами, я совсем и забыл о том, что ведь все же каждому следует знать, что именно и когда именно он должен говорить, точно так же как и все остальные так живо принялись за осуществление моих планов, что и внимания на это не обратили: им казалось, что вовсе не трудно будет сыграть героев на сцене, что не трудно будет говорить и действовать так, как говорили и действовали лица, с которыми они ознакомились по моим рассказам. А тут все они опешили, стали спрашивать друг друга, с чего следует начать? Я же, воображавший себя Танкредом, один решился выступить на сцену и начал говорить стихи из героической поэмы. Но я вскоре должен был удалиться со сцены при громком хохоте зрителей, потому что и самое место поэмы, которое я начал декламировать, вскоре перешло в форму рассказа, в котором обо мне говорилось в третьем лице, да и Готфрид Бульонский, о котором шла у меня речь, ни за что не хотел выходить на сцену. Эта неудача глубоко меня огорчила. Мне казалось, что все пропало, а между тем зрители сидели и во что бы то ни стало хотели что-нибудь видеть на сцене. Да мы же все уже были и одеты; нечего было делать – и я решился сыграть им „Давида и Голиафа“. Некоторые из сверстников моих когда-то вместе со мною занимались представлением кукольной комедии, да и все при ней часто присутство-

вали. Разобрали роли, каждый обещал сделать все возможное, а один маленький и пресмешной мальчуган даже нарисовал себе черную бороду: он думал пополнить пробелы нашей комедии, выступив на сцену шутком, и потешить публику фарсом. Помнится, что я очень неохотно согласился на это, так как фарс вообще казался мне противоречащим важному значению нашего представления. И я поклялся, если только мне удастся выйти из этого затруднительного положения, никогда уже более не решаться на представление какой бы то ни было пьесы иначе, как зрело и вполне обдумавши все заранее».

Глава VIII

Марьянна, которую между тем окончательно одолел сон, приклонилась к своему возлюбленному. Он крепко прижал ее к груди и продолжил свой рассказ, между тем как старуха осторожно подливала себе в стакан остатки вина:

– Скоро, однако же, позабыто было нами то замешательство, в которое мы были приведены, задумав сыграть такую пьесу, которая в действительности вовсе не существовала. При моей страсти к драматической передаче всякого прочтенного мною романа, всякого исторического отрывка, какой приходилось мне изучать, я не останавливался даже перед самым неудобным и негодным к переделке материалом. Я был совершенно уверен в том, что все способное занимать нас в рассказе должно произвести еще большее впечатление, если будет не рассказано, а в действии представлено; мне хотелось, чтобы все происходило перед глазами моими, на сцене. Во время преподавания нам всеобщей истории в школе я тщательно замечал, где и кто был каким-нибудь особенным образом отравлен или убит, и в воображении моем помимо экспозиций и подробностей завязки являлось только стремление к интересному пятому акту. Я и действительно не раз брался писать разные пьесы таким образом, начиная с конца, и, конечно, ни в одной из них не дошел до начала.

В то же самое время, отчасти по собственному влечению, отчасти же вследствие побуждения со стороны друзей моих, разделявших со мною вкус к театральным представлениям, я прочел целый ворох сценических произведений, какие попадались мне в руки. Я еще был в том счастливом возрасте, когда нам все нравится, когда мы находим удовольствие не в качестве, а в количестве и в возможности частой перемены. К сожалению, верности моего суждения о вышеупомянутых произведениях много препятствовало еще и другое условие: мне преимущественно нравились те пьесы, в которых, как мне казалось, я мог бы в известной роли понравиться своей игрой, и очень немного было таких, которые бы я читал, не стараясь себя приятным образом обмануть насчет моей будущей роли. При своем живом воображении я легко мог себя представить в любой роли, а это заставляло меня думать, что я и действительно в состоянии был бы исполнить всевозможные роли. Вот почему при распределении ролей я всегда выбирал те, для которых вовсе не годился, а если только являлась малейшая возможность, то я брал на себя и две роли.

Дети во время игры умеют все из всего сделать: палка заменяет им ружье, щепка – шпагу, каждый тряпичный сверток служит им куклой, и каждый угол – хижиной. В этом же роде было у нас дело и с театром. Совершенно не зная собственных сил наших, мы принимались за все, не замечали при этом неловкостей и были твердо уверены, что каждый обязан видеть в нас то, что видели мы сами в себе. И все, правду сказать, шло такой обычной дорогой, что мне, право, даже не приходится рассказать ни об одной сколько-нибудь замечательной глупости. Сначала мы переиграли все те пьесы, в которых являются действующими лицами одни только мужчины, потом стали некоторые из нас переодеваться в женское платье, и наконец мы завлекли в наши представления сестер. В некоторых домах стали смотреть на это как на полезное занятие и даже приглашать на наши представления зрителей. Наш артиллерист-поручик и тут не покидал нас: он показал нам, как мы должны входить и выходить, как декламировать и какие делать жесты, но мало он видел от нас за это благодарности, тем более что мы уже тогда считали себя понимавшими театральное искусство гораздо лучше, нежели он сам.

Очень быстро перешли мы на трагедию, может быть, потому, что часто говорили при нас многие, будто гораздо легче писать и представлять трагедии, нежели в совершенстве играть комедию. И действительно, при первой попытке трагического представления мы почувствовали себя вполне в своей стихии: чопорностью и аффектацией игры старались мы передать высокое значение сана или высоту характеров трагических и немало возмечтали о себе, но

уж вполне счастливы бывали мы в нашей игре именно тогда, когда приходилось нам на сцене неистовствовать, топтать ногами и от ярости или отчаянья даже бросаться на землю.

Вскоре после того как в наших театральных играх приняли участие девочки, природа стала брать свое, и все наше маленькое общество начало подразделяться на парочки влюбленных, и в большей части случаев приходилось нам играть комедию в комедии. Счастливые парочки самым нежным образом стали пожимать друг другу руки за кулисами; они просто утопали в восторге, когда их очарование увеличивалось благодаря разным прикрасам и подробностям костюма, и в то же самое время несчастные соперники счастливых влюбленных сгорали от зависти и со злобным смехом, с горечью в сердце готовили им всякого рода ковы.

Игры эти, хотя и начавшиеся без всякого руководства, без всякого понимания дела, были все же бесполезны для нас: они служили упражнением и для памяти нашей, и для тела, при помощи их мы достигали большей развязности и в разговоре, и в обращении, чем та, какую можно было бы требовать от нашего возраста. В особенности для меня время это представляет достопамятную эпоху в моей жизни: ум мой исключительно сосредоточился на театре, и единственным счастьем для меня являлась возможность читать, сочинять или разыгрывать на сцене театральные пьесы.

Между тем продолжал я и учиться; меня предназначили на занятие торговлей и отдали в контору к нашему соседу, но уже и в то время чувствовал я полнейшее отвращение ко всему, что казалось мне недостойным меня занятием. Я хотел посвятить всю деятельность свою сцене, на ней хотел я искать и удовольствия, и счастья своего.

Я даже еще помню об одном своем стихотворении⁴ (оно должно быть где-нибудь в бумагах у меня), в котором муза трагической поэзии и другой женский образ, в котором я олицетворил ремесло, ссорятся между собой из-за обладания моей достойной особой. Сюжет разработан в стихотворении самым дюжинным образом, и уж я совсем не помню, годятся ли куда-нибудь стихи, которыми написано оно, но я вам его во всяком случае покажу, чтобы вы могли сами убедиться, сколько там выражено опасения, отвращения, любви и горячей страсти. Как робко очертил я там ремесло в виде старой домоводки, с ключами на поясе, с очками на носу, вечно тревожной и занятой, бранчивой и расчетливой, мелочной и несносной! Каким жалким изображал я положение того, кто вынужден склоняться под ее плеткой и работать в поте лица, как раб и поденщик! Но ее соперница изображена совсем иною. Каким радостным явлением была она для моего опечаленного сердца! Прелестная по внешности, она и в самом существе своем, и в отношениях к другим являлась дочерью свободы! Благодаря своему самосознанию представлялась она проникнутой достоинством, но без всякой гордости. Ее одежда была ей к лицу: она обрисовывала формы ее тела, не стесняя его, и обильные складки ее покровов колыхались величественно, вторя очаровательным движениям божественной. Какова противоположность! Ну а ты легко можешь себе представить, на чью сторону из этих двух женщин преклонилось мое сердце. И уж конечно, я не упустил из виду ничего, что бы могло резче определить внешность моей музы. Венцы и кинжалы, цепи и маски, завещанные ей преданием до меня воспевавших ее поэтов, были и мной не забыты. Спор между обеими женщинами, выведенными в стихотворении моем, был очень горяч, речи обеих, конечно, резко отличались одна от другой, тем более что и я, как и все четырнадцатилетние юноши, способен был очень ярко обрисовывать противоположность и без всяких оттенков изображать одни только темные или светлые стороны предметов. Старуха говорила, как человек, способный поднимать с пола булавку, а ее соперница – как тот, кто готов раздаривать целые королевства. Она отвечала насмешкой на предостережения и угрозы старухи; я уже отворачивался от обещаемых мне богатств, я уже представлял себе, как я, лишенный наследства и даже последней одежды, предаю себя музе, которая набрасывает на меня новое золотистое покрывало, чтобы прикрыть наготу мою.

⁴ Это стихотворение – «Юноша на распутье»; о нем говорит Вильгельм в главе X.

– О, если б я мог тогда подумать, моя возлюбленная! – воскликнул он, крепко прижимая Марьянну к груди своей, – если бы я мог подумать, что я встречу со временем совсем иное, гораздо более привлекательное божество, что оно укрепит меня в моем намерении, будет даже сопровождать меня на пути моем, – о, тогда бы стихотворение мое могло быть гораздо более удачным! И как бы мог быть хорош конец его! Но теперь уж не до поэтических грез, теперь в объятиях твоих нахожу я истинную любовь и действительное блаженство! Будем же сознательно наслаждаться нашим счастьем!

Пожатие его руки и громкий голос, которым он произнес последние слова, пробудили Марьянну, и она постаралась, лаская его, скрыть свое смущение: она ни слова не слыхала из всей последней половины его рассказа. Нельзя не пожелать, чтобы герой наш находил себе впредь более внимательных слушателей для своих любимых рассказов.

Глава IX

Так проводил наш Вильгельм целые ночи, наслаждаясь доверчивой любовью Марьянны, и целые дни в ожидании новых блаженных, сладостных часов, которые он мог посвящать ей. Уже и в то время, когда только желание и надежда влекли его к Марьянне, он чувствовал себя как бы обновленным, чувствовал, что становится совсем иным человеком; теперь же, когда он соединился с нею узами любви, удовлетворение своих желаний обратилось для него в сладостную привычку. Он стремился сердцем к тому, чтобы облагородить предмет своей страсти, и духом своим пытался возвысить ее, поднять до своего нравственного уровня. Даже и ненадолго разлучаясь с нею, он не мог расстаться с мыслью о ней. Если и прежде он чувствовал к ней влечение, то теперь он уже решительно не мог без нее обойтись, потому что был связан с ней всеми узами человеческими. Чистая душа его чувствовала, что Марьянна была как бы половиною его собственного существа, даже более, нежели половиной. Он был за это благодарен ей и безгранично предан.

Марьянна тоже могла некоторое время обманывать себя: она разделяла с ним живые ощущения его счастья. Ах, если бы холодная рука угрызений совести могла не стеснять по временам ее сердца! Даже и на груди Вильгельма, даже и прикрытая крылами его любви, она не могла избежать этих угрызений! И она бывала действительно достойна сожаления тогда, когда из-за облаков, на которые вознесла ее страсть, ей приходилось снова нисходить к сознанию своего положения! Легкомыслие во многом помогало ей прежде, пока она жила бессознательной, пустой жизнью и способна была обманывать себя по отношению к связям своим или просто не отдавать себе в них никакого отчета. Те приключения, которым она подвергалась, являлись ей только в виде отдельных фактов, без связи и значения, удовольствия сменялись досадами, унижение – суетностью, а недостаток в самом необходимом – часто мгновенным, неожиданным изобилием. Она тогда способна была признавать привычку или нужду законом и оправданием для своих действий и все неприятные ощущения отдалять от себя с часу на час, со дня на день. Но с тех пор, как бедная девушка сошлась с Вильгельмом, она иногда чувствовала себя на несколько мгновений в ином, лучшем мире, как низвергнутая с неба, из страны света и радости, в глухую пустыню, оглядывалась на прошлую жизнь свою, чувствовала, каким жалким существом является женщина, неспособная внушать мужчине и любовь, и уважение к себе вместе с пламенным желанием, и увидела, что она не сделалась лучше, чем была, ни внутренне, ни наружно. В ней не было ничего такого, что способно было бы поднять ее; когда она заглядывала, углублялась в себя, то видела, что на душе у нее пусто, а в сердце нет никакой опоры. И чем печальнее было это состояние, тем более старалась она привязать к себе своего милого. Страсть возрастала каждый день по мере того, как более и более приближалась опасность потерять его.

Вильгельм, напротив, совершенно счастливый, парил в высших сферах; для него также открылся новый мир, но мир, богатый чудными видами на будущее. Едва только притихли первые порывы восторга, как для него совершенно прояснилось то, что до той поры темно и неясно происходило в душе его. «Она твоя! Она тебе предалась! Она, обожаемая тобой, желанное милое существо, предалась тебе вся, с полным доверием! Но она предалась человеку, который способен оценить ее!» И где бы ни приходилось ему стоять или ходить, он все говорил сам с собою; сердце его беспрестанно переполнялось, и в прекраснейшей внешней форме высказывал он себе беспрестанно возвышеннейшие настроения своей души. Ему казалось, что он понимает тайное указание судьбы, которая как бы протягивает ему руку через Марьянну, дабы изъять его из неподвижной, вялой мещанской среды, откуда он и без того уже так давно хотел вырваться. Ему казалось легко покинуть отеческий дом, расстаться с семьей. Он был молод и еще новичок в жизни, и его страстнее стремление в неизвестную даль, стремление

к счастью и удовлетворению своего самолюбия было еще более усилено любовью. Для него отныне совершенно выяснилось его призвание к сцене. Возвышенная цель, к которой он себя предназначал в далеком будущем, как бы приблизилась к нему в то время, когда он стремился к обладанию Марьянной, и он с самодовольствием начал уже видеть в себе будущего замечательного актера, создающего даже будущий национальный театр, по которому многие около него так часто вздыхали. Все, что доселе дремало в самых дальних уголках его души, вдруг пробудилось; на туманном фоне из самых различных идей создал он себе картину своего будущего, нарисовал ее яркими красками своей любви, и хотя образы этой картины были крайне неопределенны, хотя они часто сливались и перемешивались в представлении его, общее впечатление всей картины только выигрывало через это, только становилось для него еще более привлекательным.

Глава X

Вильгельм сидел дома, разбирался в своих бумагах и готовился к отъезду. Все, что хоть сколько-нибудь касалось того назначения, к которому он доселе готовился, было отложено в сторону; при своих странствованиях по свету он хотел избавиться от всяких воспоминаний о своем прошлом. Одни изящные, поэтические и критические произведения теперь обращали на себя его внимание, а так как он до сих пор вообще очень мало пользовался произведениями критиков изящного, то его страсть к изучению возобновилась с новою силою, когда он опять стал пересматривать свои книги и нашел, что чисто теоретические сочинения оставались у него до сих пор неразрезанными. Вполне убежденный в необходимости подобных трудов, он купил себе многие из них и однако же при всем желании ни одного из них не дочитал и до половины. Тем с большим рвением придерживался он разных образцов и сам испытывал себя во всех родах, какие ему были известны.

Вошел Вернер и, когда увидел друга своего опять за теми же, давно известными ему тетрадами, сказал:

– Ты опять их перечитываешь? Я готов биться об заклад, что ты никогда ничего не окончишь! Ты все только эти бумаги перечитываешь да пересматриваешь и все принимаешься за что-нибудь новое.

– Где же ученику произвести что-нибудь оконченное! Довольно уж и того, что он упражняется.

– Но все же заканчивает свои произведения, насколько это возможно.

– Ну, это еще вопрос: не следует ли возлагать более надежд на молодого человека, который, начавши какое-нибудь неуклюжее творение, вскоре замечает его негодность и, не продолжая над ним трудиться, не истратит, следовательно, ни усилий, ни времени над тем, что никуда не годится?

– Знаю, знаю. Ты никогда не бывал способен что-либо закончить и постоянно чувствовал утомление уже на половине дела. Когда еще ты был директором нашего кукольного театра, помнишь, как часто изготовлялись и новые платья для наших крошечных актеров, и новые декорации для нашей сцены? То ту трагедию задумывал ты дать, то другую, а дело-то кончалось на том, что ты, наконец, соберешься, бывало, дать какой-нибудь пятый акт, в котором все было очень пестро перепутано, а действующие лица закалывали друг друга...

– Ну, уж если ты хочешь говорить о том времени, то кто же, если не ты, бывал тогда более всего виноват в том, что мы, уже примерив и сшив нашим куклам новые платья, срывали их и тратились на бесполезное увеличение их гардероба? Разве не ты же первый всегда умел вовремя подстрекнуть к тому мою охоту и, воспользовавшись моею страстью к перемене, продать мне какую-нибудь новую ленточку?

Вернер засмеялся и потом сказал:

– Я и теперь еще не без удовольствия вспоминаю о том, что я всегда извлекал выгоду из ваших театральных предприятий, как подрядчик извлекает выгоду из бедствий военного времени. Когда вы готовились представлять освобождение Иерусалима, я почти столько же получил барышей от ваших приготовлений, сколько некогда в действительности получили венецианцы. Умный человек, по-моему, должен непременно пользоваться глупостями своего ближнего и извлекать из них выгоду.

– Мне кажется, что гораздо было бы и благороднее, и приятнее исцелять людей от их глупостей.

– Ну, насколько я людей знаю, так это стремление было бы совершенно напрасным. Много нужно уж и для того, чтобы и один-то человек сумел не наделать глупостей и разбогатеть, и это большей частью случается обыкновенно на счет других.

– А вот мне только что попался под руку «Юноша на распутии», – сказал Вильгельм, вынимая из бумаг своих какую-то тетрадь. – Вот это произведение, каково ни на есть, все же оконченное.

– Оставь его, брось в огонь! – отвечал Вернер. – Ничего в нем нет такого, что стоило бы похвалы. Уж и в былое время меня сердило это твоё сочинение, и оно даже навлекло на тебя неудовольствие отца твоего. Может быть, стишки и недурны, да основные-то воззрения совершенно ложны. Я ещё и теперь помню о твоём олицетворении ремесла, об этой жалкой, съезженной старушонке. Ты, видно, заимствовал тогда этот поэтический образ из какой-нибудь несчастной мелочной лавчонки, потому что собственно о торговле ты тогда и понятия никакого не имел. Ну сам рассуди: кому же, как не купцу, постоянно представляется и должен представляться полный простор для ума! Самый порядок, в котором мы ведем дела наши, уже дает нам возможность всегда окинуть взором обширное поле зрения. Этот порядок дает нам возможность в каждую минуту обозреть все целое, не вдаваясь в частности, не затрудняя себя ими. Подумай-ка, какие громадные выгоды приносит купцу двойная бухгалтерия! Это бесспорно одно из лучших изобретений человеческого ума, и было бы очень хорошо, если бы каждый добрый хозяин ввел ее в свое хозяйство.

– Извини меня, – с улыбкой возразил Вильгельм, – но ты начинаешь с формы, как будто в ней все и дело. Вы обыкновенно забываете среди ваших счетов и балансов то, что составляет истинный итог жизни!

– Да неужели ты не видишь, что тут самое дело и внешняя форма, служащая ему выражением, составляют одно и то же, одно без другого существовать не может! Порядок и ясность наших дел увеличивают в нас охоту к сбережению и к приобретению. Плохому хозяину любо, когда он, словно в потемках, бродит в своих счетах, не весело было бы, когда бы легко было сосчитать все свои долги. Напротив того, доброму хозяину ничто не может быть так приятно, как ежедневно подводить итоги своего возрастающего благосостояния. Даже и неудача, нечаянно и неприятно поразившая его, не пугает его однако же, потому что уж он заранее знает, какие именно из заработанных им барышей должен положить на другую чашку весов. Я уверен, любезный друг, что если бы тебе хоть когда-нибудь удалось полюбить наши дела, то ты бы убедился, что некоторые способности умственные могут в них найти себе обширное применение.

– Быть может, то путешествие, которое я предполагаю совершить, заставит меня думать иначе.

– Конечно! Да и поверь мне, что тебе стоит только присмотреться к какой-нибудь громадной деятельности, чтобы навсегда привязаться к нашему занятию, и по возвращении твоём ты охотно пристанешь к тем, которые ухитряются всякого рода оборотами и предприятиями привлечь к себе хоть частицу тех денег и богатства, которые совершают свой неизбежный круговорот в целом свете. Посмотри ты хоть на естественные и искусственные произведения всех частей света и заметь, как они мало-помалу сделались взаимною потребностью народов! Какие нужны усилия ума, чтобы знать все, что в данную минуту наиболее потребно, чтобы каждому легко и скоро доставлять то, чего он требует, осторожно и исподволь делать запасы и потом наслаждаться теми выгодами, которые ежеминутно может приносить такой обширный и строго обдуманый оборот! Поверь мне, что это может доставить удовольствие каждому разумному человеку.

– Стоит тебе только посетить два-три больших торговых города, – продолжил Вернер, видя, что Вильгельм ему не возражает, – и ты невольно увлечешься. Когда ты увидишь, сколько людей в них находят занятие, когда увидишь, откуда что идет и куда девается, то, конечно, с удовольствием увидишь также, как все это пойдет и через твои руки. Ничтожнейший товар увидишь ты в связи, в отношении его к целой торговле, и потому именно не решишься уже ни одну мелочь считать ничтожною, ибо нет тут ничего такого, что не могло бы увеличивать торгового оборота, который может тебе служить питанием, поддержкой для твоей жизни.

Вернер, выработавший здравый разум своей постоянными сношениями с Вильгельмом, привык возвышенно смотреть и на *свои* занятия, и на *свое* ремесло и всегда полагал, что он поступает гораздо правильнее, нежели его вообще разумный и дорогой друг, который, по-видимому, обращал все внимание и влагал всю душу свою в то, что было, по его собственному мнению, самым несущественным. Много раз приходило ему даже в голову, что он непременно должен пересилить в друге своем этот ложный энтузиазм и возвратить его на путь истинный. В надежде на это он и продолжил так:

– Великие мира сего овладели всей землей, живут в роскоши и изобилии. Самомалейшее пространство нашей части света уже кем-нибудь захвачено во владение, и каждое владение уже закреплено за владельцем известными правами. Служба и разные гражданские должности мало приносят выгоды, и где же можно найти возможность более правильного приобретения, более легкого завоевания, чем в торговле? Князи мира сего завладели реками, путями и гаванями и собирают тяжкие пошлины со всего, что проходит по рекам и дорогам или заходит в гавани, так не должны ли и мы, в свою очередь, пользоваться всяким удобным случаем и, сообразно нашей деятельности, собирать дань со всех предметов потребления, которые вследствие нужды или благодаря роскоши стали необходимыми? Право, если бы ты устремил на это свою поэтическую энергию, ты бы мог мою богиню смело противопоставить своей, как непроборимую и победоносную соперницу. Правда, что она охотнее берется за масляничную ветвь, нежели за меч, цепей и кинжалов она и знать не знает, ну а венцами она частенько наделяет своих любимцев, и эти венцы – не в обиду будь сказано твоей богине – вылиты из чистого золота, почерпнутого прямо из недр земли, и блистают они жемчугами, добытыми из самой глубины морской ее вечно деятельными слугами!

Вильгельма несколько раздосадовала эта выходка, однако же он скрыл свою досаду, он помнил, что Вернер всегда хладнокровно выслушивал его. Притом же он был настолько справедлив, что каждому прощал пристрастие к личным выгодам и занятиям, лишь бы не затрагивали его занятий, которым он предался так страстно.

– И что за чудное зрелище представится тебе, – продолжил Вернер, – тебе, принимающему такое горячее участие во всем человеческом, когда ты будешь видеть, как счастье, сопутствующее смелым предприятиям, выпадает на долю этим людям. Может ли быть что-нибудь очаровательнее того, когда мы видим корабль, возвращающийся благополучно из путешествия и пристающий к берегу с богатым грузом? Не только родственник, не только знакомый или участник в торговом предприятии, но и каждый посторонний зритель увлекается невольно, когда видит радость, с которой, прежде нежели судно причалило к берегу, выскакивает на берег корабельщик, долго сидевший в нем, как в заточении; он чувствует себя снова свободным и выносит с собою на верную сушу то, что успел отнять у неверного моря. Не в одних цифрах, друг мой, видим мы прибыль свою; счастье ведь может быть богом только живых людей, и, чтобы действительно чувствовать его благосклонность, нужно жить и видеть людей, которые умеют вполне живо трудиться и вполне разумно наслаждаться.

Глава XI

Пора нам, однако же, поближе ознакомиться и с отцами наших обоих друзей – людьми совершенно различных воззрений, но которые сходились в том, что почитали торговлю благороднейшим из занятий и обращали все внимание свое на те выгоды, какие они могли получить от той или другой спекуляции. Старый Мейстер тотчас по смерти отца своего обратил в деньги драгоценное отцовское собрание картин, рисунков, гравюр и древностей, перестроил дом свой от чердака и до подвала по новому образцу и вообще озаботился возможным приращением своего состояния. Значительную долю всего, что он имел, отдал он в торговый оборот Вернеру, который был известен как ловкий негоциант, потому что спекуляции его обыкновенно имели счастливый исход. Старый Мейстер более всего желал развить в своем сыне такие именно качества, каких в нем самом не было вовсе, и сверх того хотелось ему оставить детям своим состояние, которому он придавал большое значение. Хотя он и ощущал в себе некоторую склонность к роскоши, к тому, что бросается в глаза, однако же все это должно было быть и ценное, и прочное; любил он, чтобы все у него в доме было вековое и массивное, чтобы всего было много припасено, чтобы серебряные приборы были увесистые, а столовая посуда дорогая. Между тем гости в доме бывали редко, потому что каждый званый обед считался уже праздником, которому не следовало часто повторяться, по причине как неизбежных издержек, так и сопряженных с ним неудобств, нарушений домашнего порядка. Домашний быт его вообще был однообразен и скучен, и в среде его вращалось и обновлялось только то, что никому не могло принести никакого удовольствия.

Совсем иною жизнью жил старый Вернер в своем темном и мрачном доме. Как только оканчивал он свои занятия в тесном кабинете за стародавней конторкой, как тотчас же проявлялось в нем желание и хорошо поесть, и, если возможно, отлично выпить. И добром своим пользоваться он не любил в одиночку: вместе с семейством своим хотелось ему постоянно видеть за столом друзей своих – всех друзей, какие только находились в какой бы то ни было связи с его домом. Стулья у него были старомодные, но зато он каждый день приглашал кого-нибудь сидеть на них. Вкусные блюда невольно обращали на себя внимание собеседников, и никто не замечал, что их обносили кругом в самой простой посуде. В погребе его обыкновенно бывало немного вина, но выпитое вино всегда замещалось еще лучшим.

Так жили бок о бок отцы наших друзей, частенько видясь друг с другом; часто сходились они и для советов по общим делам, и не далее как сегодня еще порешили отправить Вильгельма странствовать по каким-то торговым делам.

– Пусть поглядит на свет, – сказал старый Мейстер, – да кстати и делами нашими в разных местах позаймется. Ничто не бывает в такой степени полезно для молодого человека, как когда его вовремя посвящают в то, что должно составлять главное призвание его в жизни. Ваш сын так счастливо возвратился из своего путешествия, так хорошо сумел покончить свои дела, что мне любопытно видеть, каково-то мой из них выпутается. Боюсь я только, что ученье его обойдется дороже, нежели ученье вашего сына.

Старый Мейстер, очень высоко ценивший способности сына и много ожидавший от него в будущем, высказал это в той надежде, что друг его станет ему противоречить и выставять на вид превосходные дарования молодого человека. Но он в этом ошибся – старый Вернер, в практическом отношении не доверявший никому прежде, нежели испытает его сам, возразил ему очень спокойно:

– Попытаться надо. Мы и послать его можем по той же самой дороге, и дать ему предписание, которым бы он мог руководствоваться. Много есть у нас таких долгов, которые бы следовало пособратить, есть и кое-какие старые связи, требующие возобновления сношений, есть, наконец, потребность и в новых связях. Он может даже способствовать тому, чтобы несколько

подвинулась та спекуляция, о которой я вам намеренно говорил; не имея точных сведений, собранных на месте, мы ничего в этом деле сделать не можем.

– Пусть готовится, – сказал старый Мейстер, – и как возможно скорее пускается в путь. А где добудем мы для него лошадь, которая бы годилась для такой поездки?

– За лошадью далеко ходить не придется. В Х. есть мелочной торговец, который нам кое-что еще должен, – впрочем, человек-то хороший. Так вот он предлагал мне взять у него лошадь в счет долга. Сын мой знает ее и говорит, что она может нам пригодиться.

– Пусть Вильгельм сам ее приведет, пусть отправится за ней в почтовой карете, так что он послезавтра будет обратно сюда, а мы между тем приготовим ему чемодан и письма, и таким образом ему можно будет сдвинуться с места в начале будущей недели.

Позван был Вильгельм, и ему было объявлено о решении. Он очень обрадовался тому, что средства к выполнению его намерения были у него теперь в руках и возможность представлялась сама собою, без всякого содействия с его стороны. Страсть была в нем так сильна и он проникнут был таким чистым убеждением в том, что поступает вполне правильно, вырываясь из-под гнета той жизни, которую вел до этого времени, и устремляясь на новый, более благородный путь, что и не подумал о том обмане, к которому ему придется прибегнуть, – он даже готов был считать его своею священной обязанностью. Твердо был он уверен в том, что и родители, и родственники впоследствии будут благословлять его за этот шаг, и в этом стечении обстоятельств видел указание руководящей судьбы.

Как нескончаемо долгод показался ему день, как нетерпеливо ожидал он часа, в который опять должен был увидеться со своею милой! Он сидел у себя в комнате и обдумывал план своего путешествия, как смывленный вор или какой-нибудь волшебник подчас, сидя в тесном заключении, вытягивает пальцы ног из крепко замкнутых оков, желая убедиться, что спасение его возможно, и может быть, даже гораздо более возможно, нежели думают близорукие стражи.

Наконец наступила ночь. Он вышел из дома, страхнул с себя тяготевший на нем гнет и пошел по стихнувшим улицам. Проходя через площадь, он поднял руки к небу и почувствовал, что оторвался от своего прошлого, что все поправил, – он покончил со всем. То он воображал себя в объятиях своей возлюбленной, то видел себя в будущем вместе с нею на блестящих подмостках театра. Целый рой надежд окружал его, и лишь изредка оклики ночных сторожей напоминали ему, что он еще на земле.

Его возлюбленная вышла встречать его на лестницу, и как она была прекрасна, как мила! Она приняла его, одетая в свой новый белый утренний наряд, и ему казалось, что он еще никогда не видел ее такою очаровательною. Так освятила она подарок отсутствующего любовника в объятиях того, который был налицо, и с самою неподдельною страстью она излила на него весь тот богатый запас ласки, какой дан ей был природой, какому научило ее искусство. Можно ли после этого спрашивать, был ли он счастлив, блаженствовал ли он?

Он открыл ей то, что произошло, и в общих чертах объяснил ей свои планы, свои желания. Он сказал ей, что сначала хочет сам пристроиться где-нибудь, а потом уже взять ее к себе, и надеется, что она не откажет ему в руке своей. Но бедная девушка ничего не отвечала ему, скрыла слезы и прижала своего милого к груди, а он, хоть и истолковал себе тотчас же молчание ее самым благоприятным образом, однако же желал бы от нее слышать ответ, особенно когда, несколько времени спустя, очень скромно, любовно спрашивал ее, не должен ли уж он считать себя отцом. Но и на этот вопрос отвечала она только вздохом и поцелуем.

Глава XII

На другое утро Марьянна проснулась на новое горе; она увидела себя совсем одинокой, ей и на свет божий глядеть не хотелось. Она осталась в постели и все время проплакала. Старуха присела к ней на кровать, стараясь ее урезонить, утешить, но ей не удалось исцелить раны глубоко уязвленного сердца. Приближалась такая минута, на которую бедная девушка смотрела как на последнюю в своей жизни. Да и действительно трудно было бы представить худшее положение! Ее милый удалялся от нее, немилый ей любовник угрожал приездом, и предстояла страшная возможность встречи между ними обоими.

– Успокойся, милочка! – говорила ей старуха. – Не порть слезами своих прекрасных глазок! Ну что же в том за беда, что у тебя два любовника? Хоть ты только к одному из них чувствуешь нежную привязанность, так будь же по крайней мере благодарна другому, который, право, заслуживает за все заботы о тебе названия друга!

– Мой милый предчувствовал, – со слезами отвечала ей на это Марьянна, – что мы должны вскоре расстаться. Вещий сон открыл ему то, что мы так тщательно старались от него скрыть. Он спокойно спал возле меня. Вдруг слышу я, что он что-то невнятно и испуганно говорит про себя. Я испугалась и разбудила его. О, с какой любовью, с какою нежностью и как пламенно он меня обнял! «О Марьянна! – воскликнул он. – Из какого ужасного состояния ты меня вывела! Как мне благодарить тебя за то, что ты меня освободила из этого ада? Снилось мне, что я где-то далеко от тебя, в какой-то незнакомой стране, но образ твой пронесся предо мною, я увидел тебя на прекрасном холме, и солнце все кругом обливало своим светом. Ты являлась мне такою очаровательною! Но вскоре образ твой стал опускаться, опускаться... Я протянул к тебе руки, но не мог достать до тебя: было слишком далеко. А твой образ все опускался ниже и ниже с холма, все приближался к большому озеру, простиравшемуся у подошвы холма, и озеро казалось мне каким-то болотом. Вдруг какой-то мужчина подал тебе руку.казалось, что он хочет ввести тебя на верх холма, но повел тебя в сторону и, как мне показалось, силою повлек за собою. Я закричал, потому что был далеко от тебя и не мог вас нагнать, но я надеялся тебя предостеречь. Я хотел идти, но сама земля как будто задерживала меня. Когда я наконец срывался с места, меня вдруг окружала отовсюду вода, и даже крик мой как бы замирал в стесненной груди». Так, бедный, рассказывал он мне, отдыхая от ужаса на груди моей. Он был так счастлив тем, что блаженнейшею действительностью мог изгладить всякое воспоминание об ужаснейшем сне!

Старуха старалась всеми силами при помощи своих прозаических рассуждений низвести свою подругу из области поэзии в область обыденной жизни и при этом употребила в дело тот способ, которым так удачно пользуются птицеловы: они дудочкою подражают голосам тех птиц, которых хотят заманить в свою сетку. Она хвалила Вильгельма – хвалила и наружность, и глаза его, и его любовь. Бедная Марьянна охотно слушала ее, встала с постели, дала себя одеть и казалась спокойнее.

– Дитя мое, милочка моя, – продолжала льстиво старуха, – я не хочу тебя печалить, не хочу огорчать, не думаю отнимать у тебя твое счастье. Ты, конечно, не можешь сомневаться в моих намерениях и, верно, не позабыла, что я постоянно более заботилась о тебе, чем о себе? Ну скажи же мне, чего ты именно хочешь, а уж там мы посмотрим, как это привести в исполнение.

– Чего я могу хотеть? – возразила Марьянна. – Я просто несчастная, несчастная на всю жизнь. Я люблю того человека, который и меня любит, вижу, что должна с ним расстаться, и сама не знаю, как я это переживу. Скоро должен сюда приехать Норберг, которому мы обязаны всем нашим существованием, без которого мы обойтись не можем. Вильгельм очень ограничен в средствах своих и ничего для меня не может сделать.

– Да, к несчастью, он принадлежит к числу тех любовников, которые приносят с собой только сердце свое, но вот эти-то ведь и бывают с большими претензиями.

– Не издевайся над ним! Несчастней мечтает о том, чтобы покинуть дом свой, поступить на сцену и предложить мне свою руку.

– Ну, пустых-то рук у нас и без того две пары.

– Для меня нет выбора, – продолжила Марьянна, – решай ты сама! Толкай меня туда или сюда, но только знай наперед: мне кажется, что уже я ношу в себе залог любви, который еще теснее должен нас связывать друг с другом. Обдумай все это и реши: кого мне покинуть? за кем следовать?

Старуха помолчала немного и сказала:

– Вот то-то молодость! Вы все бросаетесь из одной крайности в другую! А мне так кажется, что гораздо естественнее было бы по возможности соединять все то, что нам может доставлять удовольствие и выгоды. Люби ты одного, а другой пусть платит. Дело-то только в том, чтобы мы были неглупы да сумели бы постоянно держать их врозь.

– Ну, делай как знаешь! Я решительно не могу думать, но последую твоим советам.

– У нас та выгода, что мы можем поставить ему на вид упрямство нашего директора театра, который, мол, очень дорожит нравственностью в своей труппе. Оба любовника твои уже привыкли приходить к тебе осторожно и потихоньку. Я уж озабочусь назначением и времени, и удобного случая для свиданья, только ты помни, что должна будешь потом разыграть такую роль, какую я тебе предпишу. Как знать, что именно нам может послужить в пользу! О, если бы Норберг мог прибыть именно теперь, когда Вильгельм будет находиться в отсутствии! Тебе ведь никто не запрещает в объятиях Норберга думать о Вильгельме? А я со своей стороны желаю тебе сыночка; мы ему сумеем дать богатого отца.

Но все эти доводы старухи ненадолго способны были утешить Марьянну: она никак не могла согласовать свое нравственное состояние со своими чувствами и убеждениями. Она старалась забыть об этих печальных обстоятельствах, а между тем тысячи мелких условий жизни беспрестанно напоминали ей о них.

Глава XIII

Между тем Вильгельм уже успел окончить свое маленькое путешествие и передал рекомендательное письмо жене купца в Х., так как самого его он дома не застал. Но и она не слишком охотно отвечала на его вопросы – она была сильно взволнована, да и во всем доме заметен был большой переполох.

Немного спустя она, однако же, высказала ему откровенно – да и скрыть-то было бы мудрено, – что ее падчерица бежала с каким-то актером, что этот актер незадолго перед тем отстал от небольшой труппы, остался в их городе и давал уроки французского языка. Отец, не помня себя от горести и досады, побегал к властям, чтобы они распорядились поимкой бежавших. Она так бранила свою падчерицу, так издевалась над ее любовником, что, судя по ее словам, ни в той, ни в другом не оказывалось уж решительно ничего хорошего. При этом она сокрушалась и о том позоре, который должен был обрушиться на их семейство, и вообще очень смутила Вильгельма: он сознавал, что эта старая сивилла как бы по какому-нибудь пророческому дару заранее предает порицанию его тайное намерение. Еще более должен был Вильгельм принять участия в сокрушениях отца, который, вернувшись домой от властей, с тихой грустью и полусловами рассказал жене своей о том, что ему удалось сделать, и когда, пробежав рекомендательное письмо Вильгельма, он велел вывести ему лошадь, то при этом уж никак не мог скрыть от него ни растерянности своей, ни смущения.

Вильгельм хотел было тотчас же сесть на лошадь и удалиться из такого дома, в котором ему при настоящих обстоятельствах ни в каком случае не могло быть хорошо, однако же добрый хозяин ни за что не хотел отпустить его, помня, сколько он должен его отцу, и решил во что бы то ни стало угостить его и оставить на ночь в своем доме.

Наш друг очень скудно поужинал, очень беспокойно провел ночь и ранехонько поутру поспешил как можно скорее удалиться от людей, которые, сами того не сознавая, страшно мучили его своими рассказами и заявлениями.

Медленно ехал он, погруженный в размышления, по дороге и вдруг увидел, что по полю едут навстречу ему какие-то вооруженные люди, которых он по их длинному и широкому пластью, по большим обшлагам на рукавах, по безобразным шляпам и неуклюжему вооружению, по беззаботной походке и по развязности манер тотчас признал за отряд местной милиции. Отряд этот остановился под старым дубом; милиционеры преспокойно составили ружья свои к дереву и уселись на травку выкурить по трубочке. Вильгельм остановился около них и вступил в разговор с молодым человеком, подъехавшим к ним верхом. Пришлось опять выслушать историю о бежавших, и без того уже отлично известную ему, и выслушать с разными замечаниями, которые были не слишком лестны и для молодой парочки, и для родителей. В то же время узнал он, что отряд этот пришел сюда, чтобы действительно взять под стражу вышеупомянутых молодых людей, которые были задержаны в соседнем городке.

Спустя несколько времени вдаль показалась повозка, окруженная скорее смешною, нежели грозною стражею из граждан городка. Пребезобразный городской писарь ехал впереди этой стражи и на границе обменялся приветствиями с актуарием, предводителем отряда милиции (тем самым молодым человеком, с которым Вильгельм разговаривал), сопровождая их самыми странными жестами – как у самого края заколдованного круга обмениваются взаимными любезностями при опасных ночных заклинаниях волшебник и вызванный им дух.

Но все внимание зрителей было в это время обращено на ту крестьянскую повозку, в которой, рядышком на двух связках соломы, сидели бедные беглецы. Все смотрели на них с некоторым сожалением, но они почти не обращали внимания на окружающих, а смотрели только друг на друга. Случилось так, что их от соседней деревни пришлось везти в таком неудобном экипаже, потому что сломалась старая коляска, в которой прежде везли красавицу.

Она при этом случае упростила, чтобы вместе с нею на телегу посадили и ее милого, которого до этой поры, как виновного в важном преступлении, заставляли идти пешком за ее коляской, закованного в цепи. Цепи эти много способствовали тому, чтобы вид этой нежной группы стал еще интереснее, особенно потому, что молодой человек, несколько раз наклонявшийся, чтобы целовать руки своей милой, был вообще чрезвычайно красив и ловок в своих движениях.

– Мы очень несчастливы! – воскликнула молодая девушка, обращаясь к окружающим, – но мы вовсе не настолько виноваты, насколько это может казаться со стороны. Жестокие люди так награждают за верную любовь, и родители, нимало не заботясь о счастье своих детей, вырывают, однако же, их из объятий радости, которая наступает для них после долгих, долгих и невеселых дней!

Между тем как окружающие различно изъявляли им свое участие, актуарий и писарь успели окончить свою церемонную беседу. Повозка покатила дальше, а Вильгельм, которого более всех других занимала участь этих влюбленных, поспешил по тропинке обратно к городу, чтобы прежде их прибыть туда и познакомиться с городским судьей. Но едва только он подъехал к дому присутственных мест, в котором все было уже на ногах и все приготовлено к приему беглецов, как встретился ему актуарий, который принялся опять за подробный рассказ о происшествии, от чего перешел к нескончаемым похвалам своей лошади, только что вчера выменянной им у жида. Это помешало Вильгельму завести с ним какой бы то ни было другой разговор, а тут уж и несчастная парочка подъехала к саду позади дома и через особую маленькую калиточку была тихомолком проведена в дом. Вильгельм похвалил актуария за то, что он так человечно отнесся к несчастным влюбленным, хотя собственно тот хотел этим только насолить собравшейся перед домом публике, лишив ее приятной возможности полюбоваться унижением своей согражданки.

Судья был не особенным любителем подобных чрезвычайных случаев, потому что при этом обыкновенно он делывал промахи, за которые ему крепко доставалось от княжеского правительства. Медленно прошел он в залу заседания, куда последовали за ним некоторые из значительнейших граждан, Вильгельм и актуарий.

Сначала ввели красавицу, которая вошла без всякой наглости, просто и с сознанием собственного достоинства. И по одежде ее, и по манерам видна была в ней девушка, желающая держать себя прилично. Прежде нежели ее спросили, она начала говорить о своем положении и говорила довольно недурно.

Актуарий приказал ей замолчать и занес перо над листом бумаги. Судья принял серьезный вид, взглянул на него, откашлялся и спросил у бедной девушки, как ее зовут и сколько ей лет.

– Право, сударь, – отвечала она ему, – мне кажется очень странно, что вы меня спрашиваете о моем имени и летах, тогда как вам очень хорошо известно мое имя и то, что я ровесница вашего старшего сына. На то же, что вы пожелаете узнать от меня, и на все, что вы должны знать, я охотно отвечу вам без всяких изворотов. Со времени второй женитьбы отца мне нехорошо жилось дома. Я уже несколько раз имела бы возможность прекрасно выйти замуж, если бы только мачеха моя, опасаясь требований приданого со стороны женихов, не расстроила все представлявшиеся мне партии. И вот теперь познакомилась я с молодым Мелина, полюбила его, и так как мы заранее предвидели препятствия, предстоящие нашему союзу, то и решились вместе искать по свету счастья, которое не дано было нам видеть дома. Я не взяла с собою ничего, не принадлежавшего мне, бежали мы не как воры и не как разбойники, и мой любовник не заслуживает вовсе того, чтобы его влекли сюда связанного, в цепях. Князь наш справедлив и, конечно, не похвалит этой жестокости обращения. Если мы и заслуживаем наказания, то, конечно, уж не такого.

Старый судья тут решительно растерялся и смутился. Начальственная головомойка, казалось ему, готова обрушиться на его голову, а быстрая и связная речь молодой девушки совсем

расстроила в голове его план протокола. Еще более был он смущен, когда она, сколько ни повторяли ей обычные вопросы, прямо стала уклоняться от ответа на них и настойчиво ссылалась на то, что уже было ею сказано.

– Я не преступница, – сказала она. – Меня везли сюда ради срама на связках соломы, но помните, что есть, кроме вашего, еще высший суд, который снимет с нас это временное бесчестье.

Актуарий между тем все записывал слова ее и шепнул судье, чтобы тот продолжал допрос, что он после составит из него формальный протокол.

Старик ободрился и начал по обыкновенной форме, сухо и грубо, расспрашивать девушку о сладостных тайнах любви.

Вильгельм покраснел за него, и щеки милой преступницы вдруг покрылись очаровательною краской стыдливости. Она молчала упорно, пока самое смущение наконец не придало ей смелости.

– Будьте уверены, – сказала она, – что у меня бы хватило духу высказать всю правду, если бы даже и против себя самой пришлось говорить. Не вам смутить меня и поколебать мое мужество! Да, с той самой минуты, как я убедилась в его любви и преданности ко мне, я уже стала смотреть на него как на своего супруга, и я все позволяла ему, чего требует любовь и в чем сердце не может отказать любимому. Делайте же теперь со мною все, что вам вздумается! И если я с минуту не решалась откровенно высказаться перед вами, то причину этому мог быть только страх за моего милого, для которого я боялась дурных последствий от моего признания.

Услышав эти слова, Вильгельм получил высокое понятие о молодой девушке, между тем как приказные признали ее открыто за наглую девку, а присутствовавшие в суде граждане благодарили Бога за то, что в их семействах ничего подобного не случилось да и слыхано не было.

Вильгельм мысленно перенес в эту минуту свою Марьянну пред лицо судьи – он влагал ей в уста еще более прекрасные слова, вносил в ее признание еще более чистосердечия и благородства. Им овладело живейшее желание помочь во что бы то ни стало обоим влюбленным. Он и не скрыл этого желания и тихонько попросил нерешительного судью поскорее покончить с этим делом, так как все уже совершенно ясно и никакие дальнейшие расследования не оказываются более нужными.

Благодаря этому молодую девушку вывели из залы, а на ее место ввели ее возлюбленного, сняв с него оковы перед входом. Он, по-видимому, более был озабочен своею участью. Ответы его были положительнее, нежели ответы девушки, и он, с одной стороны, выказал менее геройской смелости, зато обратил на себя общее внимание определенностью и последовательностью своих показаний.

И этот допрос был вскоре окончен; он отличался от предыдущего только тем, что молодой человек, желая пощадить свою подругу, настойчиво отвергал то, что уже и без признания его было всем известно.

Затем ввели опять молодую девушку, и между ними обоими произошла сцена, которая окончательно привязала к ним нашего героя. Здесь, в неприветной зале присутствия, собственными глазами увидел Вильгельм то, что обыкновенно происходит только в романах и комедиях, – борьбу взаимного великодушия и силу любви в несчастьи.

– Неужели же это всегда так бывает, – сказал он сам себе, – что боязливая нежность, скрывающаяся от солнечного света и от лица людей, допускающая наслаждения только в совершенном уединении, под покровом глубочайшей тайны, – неужели эта нежность, вызванная на свет Божий враждебным случаем, всегда выказывается более мужественною, более твердою и храброю, нежели шумные и величавые страсти?

К его удовольствию, все дело не слишком долго затянулось. Обоих молодых людей посадили в довольно сносное заключение, и если бы это было возможно, то Вильгельм сегодня же думал препроводить молодую девушку к родителям, потому что вообще он твердо решил

быть в этом деле посредником и всеми силами способствовать счастливому и благополучному соединению любящих. Он попросил у судьи позволения поговорить с Мелина наедине, и позволение это было дано ему без всяких затруднений.

Глава XIV

Разговор новых знакомцев очень скоро стал и оживленным, и откровенным. Когда Вильгельм пояснил убитому горем юноше свое отношение к родителям молодой девушки, предложил себя в посредники и обнадежил его, печальное и озабоченное лицо заключенного прояснилось, он почувствовал себя снова на свободе, примирившимся с родителями своей возлюбленной, и перевел разговор на свои будущие занятия и положение.

– В этом отношении вам нечего затрудняться, – сказал ему Вильгельм. – Вы оба кажетесь мне от природы предназначенными на то, чтобы снискать свое счастье в избранном вами занятии. У вас приятная наружность, звонкий голос, чувствительное сердце – чего же лучше желать для актера? И мне очень приятно будет, если я смогу служить вам какими-нибудь рекомендациями.

– От души благодарю вас, – отвечал ему юноша, – но едва ли мне удастся воспользоваться вашими предложениями, потому что я, если будет возможно, постараюсь не возвращаться на сцену.

Вильгельма это очень удивило: он был твердо уверен, что как только этот молодой актер выйдет вместе с юною женою из заключения, так тотчас же поступит на сцену. Это казалось ему настолько же естественно и необходимо для него, как вода для рыбы. Ни на минуту не усомнился он в намерениях его – и вдруг, к удивлению своему, должен был узнать противное. Помолчав, он сказал:

– Нехорошо вы делаете.

– Да, я уж решился не возвращаться более в театр и предпочту взять на себя какую бы то ни было гражданскую должность, если только мне дадут ее.

– Странное решение! Не могу похвалить его. Мне кажется, что неблагоприятно было бы без особенной причины изменять избранный нами образ жизни, да к тому же я не знаю ни одного положения общественного, которое бы более представляло приятностей, более обещало в будущем, чем положение актера.

– Видно, что вы актером не были, – отвечал Мелина.

На это Вильгельм сказал ему:

– Величайшая редкость, чтобы человек мог быть доволен своим положением! Он постоянно желает добиться того, в котором видит своего ближнего и из которого ближний этот, в свою очередь, стремится выйти.

– И все же остается разница между худым и худшим. Меня ведь не какое-нибудь непостоянство подстрекает, а опыт вынуждает выйти из теперешнего положения. Нет в свете более неверного, более тяжкого и более горького куса хлеба, чем актерский. Право, мало чем он может быть поставлен выше простого нищенства. Сколько приходится актеру выносить от своих товарищей и пристрастия директора, от переменчивости вкусов и прихотей публики! Для всего этого нужно, чтобы на нас была такая же толстая шкура, как на тех медведях, которых водят на цепи вместе с собаками и обезьянами, бьют палкой и потом заставляют перед детьми и чернью плясать под звук волынки.

Вильгельм думал про себя много такого, что, однако же, не хотел высказать в лицо молодому собеседнику своему, а потому он только издали продолжал его расспрашивать, и тем подробнее, тем искреннее продолжал тот высказываться.

– Разве не тяжело видеть, – сказал Мелина, – как директор в ноги принужден кланяться каждому городскому советнику, лишь бы получить разрешение на возможность приобрести два-три лишних гроша во время четырех недель ярмарки. Я часто жалел нашего директора, который был недурным человеком, хоть он мне, вообще говоря, и много подавал поводов к неудовольствиям. Хороший актер заставляет его повышать цену, а от плохих он не знает как и

отделаться, а чуть только задумает хоть сколько-нибудь приравнять свой доход с расходами, как публика тотчас жалуется на дороговизну, театр пустеет, и приходится играть с грехом пополам, чтобы совсем не погибнуть. Нет! Уж так как вы, по вашим собственным словам, принимаете участие в нас, то я прошу вас: поговорите посерьезнее обо мне с родителями моей возлюбленной! Пусть мне доставят здесь хоть какое-нибудь, хоть небольшое место писца или сборщика, и я буду считать себя совершенно счастливым.

Поговорив еще немного, Вильгельм расстался с ним, но обещал ему завтра ранехонько повидаться с родителями его невесты и посмотреть, что он может сделать. Но едва только он очутился один, как не мог не воскликнуть:

– Несчастный Мелина! Не в твоём общественном положении, а в тебе самом кроется та горемычность, с которой ты совладать не можешь! Есть ли на свете такой человек, который бы, взявшись без всякого призвания за ремесло, за искусство или за другой какой бы то ни было способ жизни, не нашел своего положения настолько же невыносимым, насколько ты находишь свое! Кто родился с талантом, для таланта, тот видит в нем лучшую сторону своего существования! Ничто на земле не обходится без трудностей! Только внутреннее влечение, охота к чему-нибудь и любовь помогают нам преодолевать препятствия, пролагать пути и возвышаться над тем тесным кругом, среди которого другие живут жалкою и тревожною жизнью. Не для тебя существуют подмости, да и роли-то для тебя то же, что урок для школьника. Тебе и зрители-то являются в самом будничном свете. Вот почему и выходит, что тебе все равно сидеть за конторкой над разграфленными книгами, записывать в них подати да подводить итоги. Ты неспособен чувствовать ту неразрывную, целостную гармонию, которая может быть создана, понята и выполнена только духовной силой, ты не чувствуешь, что в человека заронена лучшая искра, которая, если ее не раздувают, не поддерживают, правда, более и более покрывается золою обыденных потребностей и равнодушия, но никогда не потухает в нем совершенно. Ты не чувствуешь в душе своей сил, чтобы раздуть эту искру, а в сердце своем не находишь ты того богатого запаса, которым бы ты мог поддержать огонь ее. Тебя голод преследует, тебе несносны неудобства, а ты и не подозреваешь, что эти враги могут встретить нас в каждом общественном положении и что их победить можно только веселостью и равнодушием. Хорошо ты и делаешь, что стремишься ограничить себя обычными обязанностями самой простой должности: где тебе взяться за такое дело, которое требует и мужества, и вдохновения! Дай ты свои воззрения солдату, государственному человеку или духовному, и каждый из них точно так же, как и ты, станет жаловаться на горемычность своего положения. Да разве не было и таких людей, которые были до такой степени лишены всякой жизненности, что и жизнь, и самое существование смертных почитали за ничто, за ничтожное и печальное бытие? Если бы душа твоя была способна заключать в себе живые образы людей, если бы грудь твоя была согрета участием к людям, если бы ты способен был всей внешностью твоей выразить внутреннее настроение свое, если бы звуки твоей гортани и слова уст твоих могли звучать приятно, если бы ты мог достаточно чувствовать себя в себе самом, тогда бы ты, конечно, искал случая и возможности чувствовать себя и в других!

С такими словами и мыслями друг наш разделся и лег в постель с самым искренним чувством самодовольства. В голове его сложился целый роман, когда он стал думать о том, что бы он стал делать завтра утром, если бы находился в положении этого недостойного. Приятные мечты незаметно проводили его в царство сна и там передали его на руки своим сестрам, сновидениям, которые приняли его с распростертыми объятиями, и он почувствовал себя словно на небе.

Рано утром Вильгельм уже был на ногах и думал о предстоящих ему переговорах. Он возвратился в дом родителей молодой девушки, которые приняли его с удивлением. Он очень вежливо изложил им то, что побудило его прийти, и встретил с их стороны вместе и более, и менее затруднений, нежели ожидал. Грех уже случился, и хотя люди строгие обыкновенно

и восстают против того, что свершилось, что неизменно, этим нередко увеличивая зло, тем не менее все совершившееся оказывает на большую часть умов непреодолимое влияние, и то, что прежде казалось невозможным, раз оно случилось, относится всеми в разряд обыкновенного. Вот почему вскоре обе стороны сошлись на том, что господин Мелина должен получить руку своей возлюбленной, но она за дурное поведение свое в настоящее время не получит никакого приданого и сверх того обещает, что завещанные ей теткой деньги оставит еще на несколько лет в руках отца, за весьма ничтожный процент. Второй пункт Вильгельмова ходатайства, именно доставление Мелина какого-нибудь места, встречен был большими затруднениями. Родители не хотели, чтобы непокорное дитя оставалось у них пред глазами, не хотели, чтобы для такого почетного семейства, состоявшего в родстве даже с каким-то суперинтендентом, всегда служила живым упреком связь с первым встречным. Еще менее можно надеяться, говорили родители, чтобы княжеские коллегии решились такому человеку доверить какое бы то ни было место. И отец и мать одинаково упорно восставали против этого, и никак не мог убедить их своими доводами Вильгельм, особенно ревностно ходатайствовавший за Мелина на том основании, что считал его уже недостойным счастья возвратиться на сцену. Он бы и не старался уговорить родителей, если бы знал, что именно побуждало их не согласиться: дело-то было в том, что отец и не прочь был бы оставить при себе дочь, да заметил, что жена его как-то чересчур нежно поглядывает на Мелина, и возненавидел его. Мать, с другой стороны, не хотела в своей падчерице видеть счастливую соперницу. Итак, Мелина даже и против воли своей должен был уехать и отправиться искать себе места в какой-нибудь труппе вместе с женою своею, которая не на шутку горела желанием и людей посмотреть, и себя показать.

Глава XV

Счастливая юность! Счастливая пора первой потребности любви! Человек в эту пору подобен бывает ребенку, который целые часы способен забавляться эхом, способен один выдерживать на себе все тягости разговора с ним и все же находит в этом разговоре удовольствие, хотя невидимый собеседник повторяет все только последние слоги его же собственных слов.

Таков и был Вильгельм даже в начале любви своей к Марьянне, но еще более в позднейший период ее, когда он перенес на нее все богатство своего чувства и при этом смотрел на себя как на нищего, который только и питается, что ее милостыней. И точно так же, как известная местность только потому может казаться нам привлекательною, что освещена солнцем, так и в его глазах прекрасным, бесподобным являлось только то, что ее окружало, чего она касалась.

Как часто стаивал он за кулисами в театре, испросив себе на то позволение от директора! Обман зрения и волшебство перспективы, конечно, исчезали от него в ту минуту, но только тогда и начинало действовать гораздо более могущественное очарование любви. Целые часы не сходил он с места, вдыхая в себя копоть дрянных масляных ламп, и все смотрел на свою возлюбленную, и когда она снова вступала за кулисы, когда она, бывало, бросала на него ласковый взгляд, он решительно терялся от блаженства и чувствовал себя на седьмом небе, несмотря на то что кругом его всюду торчали только доски да бревна закулисной обстановки театра. Чучела барашков, механические водопады из жиденькой тафтицы, картонные кусты розанов и соломенные шляпы с полями только на одной стороне, обращенной к публике, – даже все это способно было возбуждать в нем милые поэтические образы отжившего пастушеского мира. Даже и очень безобразные вблизи танцовщицы не казались ему слишком дурными только потому, что они стояли на одной доске с его возлюбленной. Вот и выходит, что любовь, так нежно оживляющая перед глазами нашими и розовые беседки, и миртовые рощицы, и лунный свет, способна бывает придать вид живой природы даже простым щепкам или вырезкам из бумаги. Да, любовь принадлежит к числу таких кореньев, которые могут прикрасить, придать вкус и самой плохой, самой безвкусной похлебке. В таком-то именно корне и нуждался Вильгельм, чтобы сначала найти хоть сколько-нибудь сносным, а потом даже и приятным то состояние, в котором он обыкновенно заставлял квартиру своей милой, а подчас даже и ее самое.

Так как он вырос в поставленном на изящную ногу доме, то порядок и чистота составляли стихию, где ему приходилось дышать, и, унаследовав отчасти отцовскую любовь к роскоши, он еще в детстве умел, бывало, красиво убирать свою комнату, на которую смотрел как на свое маленькое царство. Занавески его кровати были приподняты большими складками и поддерживались кистями, точь-в-точь как обыкновенно изображают троны. Он сумел добыть себе коврик на середину комнаты, а другим, потоньше, покрыл стол. Книги и вещи свои он машинально привык устанавливать в такой порядок, что любой фламандский живописец, пожалуй, мог бы почерпнуть здесь хорошие группы для своих картин, изображающих тихо и мирно текущую жизнь. Дома носил он обыкновенно на голове белую шапочку в виде чалмы и велел укоротить рукава своего шлафрока на манер восточного костюма, ссылаясь, впрочем, на то, будто длинные рукава мешают ему писать. По вечерам, когда ему случалось оставаться одному и он уже знал, что его никто не может потревожить, он обвязывал шлафрок свой шелковым поясом и по временам даже засовывал за этот пояс небольшой кинжал, добытый им из старой оружейни; в этом-то виде обыкновенно разучивал и повторял он свои трагические роли и потом, под тем же настроением преклонив колена, молился на своем коврике. Вот почему в то время он почитал особенно счастливым актера, постоянного обладателя стольких величественных одежд, оружия и уборов всякого рода, актера, которого дух казался ему зеркалом всего высокого и прекрасного, что происходит на свете в области различных межлюдских отношений,

настроений и страстей. На этом основании и домашнюю жизнь актера Вильгельм представлял не иначе, как в виде ряда достойнейших действий и занятий, высшим проявлением которых и было появление актера на сцене, – так точно серебро, которое долго плавилось и переплавлялось в горниле, наконец является перед работником во всем блеске своего нового цвета, который в то же время указывает и на полное отсутствие всяких посторонних примесей в его составе.

Как же он был поражен, когда ему впервые пришлось быть у своей возлюбленной и сквозь окружавший его туман счастья он взглянул около себя на столы, на стулья, на пол. Всюду разбросаны были в страшном беспорядке остатки и клочья минутных, легких и обманчивых нарядов, подобных блестящей чешуе, только что сорванной с рыбы. Щетки и гребни, платки, помады и мыло вместе со всеми признаками употребления своего тоже бросались в глаза. Ноты, роли и башмаки, белье и дорогие искусственные цветы, баулы, шпильки, баночки румян и ленты, книги и соломенные шляпки – все это покоилось рядом, и все было покрыто одним общим покровом пыли и пудры. Но так как Вильгельм в присутствии ее мало обращал внимания на все остальное, так как ему становилось милым все, что ей принадлежало, до чего она прикасалась, то он под конец стал уже находить некоторую прелесть в этом страшном беспорядке – такую прелесть, о которой он никогда не мог и понятия иметь среди своей домашней роскошной обстановки. И когда ему случалось снимать с фортепьяно ее корсет, чтобы добраться до клавишей, когда он перекладывал со стула на постель какое-нибудь ее платье, чтобы очистить себе место, когда она сама, бывало, выказывала перед ним с полнейшей неприужденностью много такого, что обыкновенно стараются из приличия скрыть перед другими, – тогда ему только все казалось, будто он с каждой минутой становится ближе и ближе к ней, как будто и самая связь между ними укрепляется какими-то невидимыми, но неразрывными узами.

Не так, однако же, легко примирился он с поведением других актеров, с которыми несколько раз встречался у нее еще в период первых своих посещений. Вечно праздные, они, казалось, нимало не заботились о главной цели своей жизни, о призвании своем. Никогда не слышал он, чтобы они толковали о поэтическом значении пьесы, чтобы они правильно или неправильно судили о ней; постоянно решали они между собой только один вопрос: что может доставить та или другая пьеса? эффектна ли она? долго ли она продержится на сцене? как часто можно будет давать ее? И только в таком роде и были все их вопросы и замечания. Затем обыкновенно начинались нападки на директора, что он, мол, слишком скуп на жалованье и в особенности несправедлив к такому-то и к такому-то, потом нападки на публику, которая будто бы редко удостоивает вниманием своим того, кто его действительно заслуживает; толковали еще иногда и о том, что немецкий театр со дня на день становится все лучше и лучше, что актеры более и более начинают заслуживать ото всех почета, но что их все еще не умеют ценить достаточно, и т. п. Затем говорилось еще очень много о кофейнях и публичных садах и о том, что там произошло, о том, сколько долгов у того или другого товарища и сколько с него производится вычетов; говорили о несоразмерности недельного жалованья, о кознях противной партии, причем опять-таки разговор возвращался к тому значительному и вполне заслуженному вниманию, каким их удостоивала публика, и не бывало забыто влияние, оказываемое театром на цивилизацию отдельных народов и даже всего мира.

Все эти мысли, которые когда-то так тревожили Вильгельма, теперь опять пришли ему в голову, между тем как он на своей лошади медленно ехал по дороге к дому, обдумывая все случившееся с ним. Своими глазами пришлось ему видеть ту суматоху, которая была произведена бегством молодой девушки в семействе добрых бюргеров, да и в целом городке. Все, виденное им на дороге, под дубом и в присутственной зале, и самые воззрения Мелина, и все остальное представилось ему опять очень живо и привело его бойкий, пытливый ум в некото-

рого рода беспокойство, которого он не мог долго выносить, почему дал шпоры коню и поспешил в город.

Но и тут суждено было ему встретить новые неприятности. Вернер, его друг и предполагавший зять, ожидал его, чтобы завести с ним серьезный, важный и неожиданный для него разговор.

Вернер был одним из положительных людей, очень определенных в своем круге действий, одним из тех, которых обыкновенно называют холодными, потому что они при случае не загораются ни быстро, ни видимо для кого бы то ни было, – вот почему и самые сношения его с Вильгельмом были постоянной борьбой, которая, однако же, только более и более способствовала скреплению их дружбы, ибо, несмотря на то что они были совершенно различных взглядов на вещи, каждый из них находил в другом то, что ему было нужно. Вернер бывал очень доволен, когда ему от времени до времени удавалось обуздать и сдержать своего друга, очень умного, но все же иногда способного к увлечениям; Вильгельм, в свою очередь, просто торжествовал, когда успевал в каком-нибудь горячем порыве увлечь за собою и своего благоразумного друга. Так они были заняты взаимным совершенствованием. Они привыкли видаться ежедневно, и можно даже сказать, что желание свидеться друг с другом и поговорить увеличивалось еще более от невозможности вполне совершенно ясно понять друг друга. В сущности же, они, оба прекрасные люди, шли в жизни рядом, близко и к одной цели и никак не могли понять, почему ни один из них не может окончательно привлечь другого на сторону своих воззрений. Вернер замечал с некоторого времени, что Вильгельм стал реже ходить к нему, что он коротко и рассеянно начал говорить даже о самых любимых своих предметах, что он более уже не вдается в оживленное развивание причудливых идей, постоянно служащее верным признаком свободного состояния души, которую присутствие друга успокаивает и радует. Пунктуальный и осторожный Вернер стал было сначала винить в этом свой собственный образ действий относительно Вильгельма, пока наконец кое-какие городские слухи не навели его на настоящий след, а некоторые неосторожные поступки самого Вильгельма не заставили убедиться в справедливости слухов. Он принялся за расследование и вскоре открыл, что Вильгельм несколько времени тому назад открыто посещал одну актрису, говорил с ней в театре, провожал ее домой. Он бы был просто в отчаянии, если бы узнал и о личных свиданиях его с нею, потому что слышал, что Марьянна кокетка, которая, вероятно, из-за денег увлекает его друга, да к тому же еще и живет на содержании у другого, самого недостойного из своих обожателей. Как только он убедился в справедливости своих подозрений, так тотчас же решился напасть на Вильгельма и был уже вполне готов к приведению своего намерения в исполнение, когда Вильгельм, недовольный и расстроенный, возвратился из своей поездки.

Вернер в тот же вечер, сначала спокойно, а потом с настойчивостью доброжелательства и дружбы, поставил на вид все, что было ему известно, не упустил из виду ни одной черты и постарался излить на Вильгельма всю ту горечь, на которую сдержанные люди бывают обыкновенно с добродетельным злорадством так щедры в отношениях к влюбленным. Это ни к чему не привело, как и следовало ожидать.

Вильгельм отвечал ему с внутренним волнением, однако же с большой уверенностью:

– Ты этой девушки не знаешь! Может быть, внешность и не в ее пользу говорит, но что до меня касается, то я в ее добродетели и верности уверен так же, как в своей любви к ней.

Вернер настаивал на своих обвинениях, предлагал и доказательства, и свидетелей. Вильгельм отверг и то и другое и удалился от своего друга, раздосадованный и потрясенный, в настроении человека, которому неискусный зубной врач только разбередил, но не сумел вырвать больной зуб.

Ужасно неловко было Вильгельму, когда он увидел, что прекрасный образ Марьянны помутился в душе его, почти изуродовался сначала под влиянием дорожных тревожений, а потом благодаря нелюбезности Вернера. Лучшим и вернейшим средством к восстановлению

красоты и ясности его почел он, конечно, свидание с нею, и как только наступила ночь, уж он шел обычным путем своим. Она встретила его с живейшею радостью. Он, возвращаясь в город, проехал мимо окон ее, она ожидала его к себе на ночь и, само собою разумеется, очень скоро успела изгнать из души его даже и малейшую тень сомнения. Нежность ее опять возвратила ей все его доверие, и он рассказал ей откровенно, в какой степени и вся публика, и его друг были виноваты перед нею.

Среди оживленной беседы вспомнили они о первом времени знакомства своего, а это воспоминание всегда бывает самым приятным из всех разговоров между влюбленными. Нам так милы бывают первые шаги в лабиринте любви, так очаровательны первые надежды, возбужденные ею, что мы всегда охотно возобновляем их в своей памяти. Влюбленные обыкновенно при этом стараются перещеголять друг друга, каждый утверждает, что он первый полюбил, что его любовь была бескорыстнее, и у каждого из них является пламенное желание выйти из этой борьбы скорее побежденным, нежели победителем.

Вильгельм еще раз повторил Марьянне то, что она уже много раз слышала от него: что она вскоре после того, как он ее увидел, заставила его позабыть о пьесе и сосредоточила его внимание исключительно на ней, что ее наружность, игра, голос обворожили его и он стал исключительно посещать только те спектакли, в которых играла она, что потом он пробрался за кулисы и часто, не замеченный ею, стаивал очень близко от нее; потом он с восторгом говорил о том счастливом вечере, в который он нашел возможность оказать ей какую-то любезность и вступить с ней в разговор.

Марьянна, напротив того, утверждала, что она уже давно замечала его, уверяла, что она еще и прежде видала его на прогулке, и в доказательство своих слов описывала подробно то платье, в котором он тогда был; она говорила, что он ей и тогда уже более всех понравился и она пожелала с ним познакомиться.

И как охотно верил всему Вильгельм! Как охотно поддался он уверению, будто ее влекло к нему непреодолимой силой, будто она даже с намерением стала близко от него, у кулис, чтобы ближе рассмотреть его и завести с ним знакомство, и наконец сама решилась, потому что видела его сдержанность и робость, подать ему повод к знакомству с ней, почти насильно заставив подать себе стакан лимонаду!

Среди таких милых споров, возбуждавшихся у них постоянно при воспоминании о разных мелких подробностях их короткого романа, часы пролетели для них очень быстро, и Вильгельм ушел от своей возлюбленной совершенно успокоенный и с твердым намерением как можно скорее привести свой план в исполнение.

Глава XVI

Отец и мать позаботились обо всем, что было необходимо для его отправления в путешествие, недоставало только некоторых мелочей в экипаже, и это должно было замедлить отъезд на несколько дней. Вильгельм воспользовался этим временем, чтобы написать Марьянне письмо, в котором он, наконец, хотел завести с ней речь именно о том, о чем она постоянно избегала всяких разговоров.

Вот что говорилось в письме:

«Под милым мне покровом ночи, которая так часто заставляла меня в твоих объятиях, сижу я, думаю о тебе и пишу к тебе, и все, что обдумываю, что собираюсь делать, – все это только для тебя одной. О Марьянна! Я теперь чувствую то же, что чувствует жених, когда он – полный предвидениями того нового мира, который должен будет открыться в нем и благодаря ему, – стоит в церкви на свадебном ковре и между тем, как совершается священнодействие, уносится своею сладострастною мыслью к той таинственной завесе, из-за которой уже слышится ему сладкий шепот наслаждений любви.

Я наконец решился через несколько дней расстаться с тобою. Мне было даже не трудно сделать это в надежде, что я вознагражу себя вскоре за это лишение, что я вскоре сделаюсь твоим навеки и останусь вполне твоим. Должен ли я еще раз повторять, чего желаю от тебя? Да, это нужно повторить: мне кажется, что ты меня до сих пор еще не поняла. Как часто я старался отыскать в сердце твоём желание навеки соединиться со мною – и отыскивал его с осторожностью, свойственною той преданности, которая не решается много говорить, потому что постоянно слишком многого требует. Ты, конечно, это понимала, так как и в твоём сердце давно уже должно было зародиться то же самое желание; ты должна была чувствовать его и в поцелуях моих, и в безмятежном покое тех счастливых вечеров, которые мы проводили вместе. Только тут узнал я твою скромность, и как усилилась от этого моя любовь! Где бы другая употребила в действие свое искусство, чтобы от излишнего зноя лучей поскорее созрело решение в сердце любовника, чтобы поскорее вынудить у него признание и обязать его клятвой, – там ты отстраняешься, стараешься не заглядывать в полуоткрытое перед тобой сердце своего возлюбленного и скрываешь свою готовность сочувствовать ему под личиною внешнего равнодушия. Но я тебя понимаю! Каким бы я был жалким человеком, если бы я по этим признакам не угадал чистой, бескорыстной любви твоей, сбереженной тобой только для друга твоего! Доверься мне и будь спокойна! Мы принадлежим друг другу, и утраты не существуют для нас, потому что мы и живем друг для друга!

Прими же ее, эту руку! Прими торжественно еще этот излишний знак любви! Все радости любви уже испытаны нами, но нам готовятся новые блаженства в осуществлении мысли о том, что они будут длиться вечно. Не спрашивай, как это должно сбыться, не заботься об этом! Судьба сама заботится о любящих, и тем легче это ей, что они всегда и немногим бывают довольны.

Сердцем я уже давно покинул родительский дом; оно так же неразлучно с тобою, как душа моя постоянно неразлучна с театром. О, милая моя! Дано ли хоть кому-нибудь из людей такое счастливое сочетание желаний, какое послано

судьбой мне? Сон не смыкает очей моих, и любовь твоя и твое счастье вечною зарею освещают жизнь мою.

Едва могу воздержаться от желания сейчас же бежать к тебе, сейчас же вынудить у тебя согласие и после этого завтра же рано утром пуститься в путь и стремиться к достижению своей цели. Нет, хочу совладать с собою! Не хочу необдуманно делать глупые, безрассудные шаги; план мой уже набросан, и я думаю спокойно приводить его в исполнение.

Я знаком с директором Серло и прямо направлюсь к нему. С год тому назад он часто ставил своим актерам в пример мою ревностную привязанность и стремление к сцене и, вероятно, примет меня с удовольствием. В вашу же труппу я по многим причинам не желал бы поступить, к тому же Серло так далеко отсюда, что мне нетрудно будет даже и скрыть первые шаги мои на сцене. Небольшое жалованье назначат мне ведь там тотчас по вступлении, а между тем я ознакомлюсь с публикой, с самою труппой и потом уж переведу туда и тебя.

Марьянна, видишь ли ты, к каким усилиям над собою я способен, лишь бы только приобрести уверенность, что ты действительно будешь моею. Даже трудно мне и представить, как это я тебя так долго не увижу, как оставлю тебя здесь одну. Но когда я себе представляю твою любовь, обеспечивающую меня от всяких опасений, и если ты исполнишь просьбу мою: перед алтарем теперь же подать мне руку – о! тогда я уеду отсюда совершенно успокоенный. Для нас с тобой это будет, конечно, только внешним обрядом, но каким прекрасным обрядом! – благословение небесное снизойдет на наше земное счастье. По соседству, в одном из рыцарских владений, нетрудно будет устроить нам это тайно. Для начала у меня денег довольно; поделимся, и на обоих нас хватит, а прежде нежели это будет истрачено, Бог поможет нам.

Да, милая, я решительно ничего не опасаюсь. То, что начато с таким веселым и радостным чувством, должно и кончиться счастливо. Я никогда не сомневался, что мы можем иметь успех в жизни, если только глядим на нее серьезно, и я чувствую в себе достаточно мужества для того, чтобы заработать хлеб не только для себя одного, но и для нескольких. Многие говорят, будто бы люди неблагодарны, – не вижу я, чтобы они были неблагодарны, если только мы умеем быть им действительно полезными. У меня душа горит при мысли, что я, наконец, выступлю на сцену и тем получу возможность в самую глубину сердца всех и каждого проникнуть такую речь, какую все давно уже и пламенно желают слышать. И как я всегда волновался при своей постоянной страсти к театру, видя, что жалчайшие люди тоже способны воображать себе, будто и они могут сказать великое, дивное слово сердцу нашему! Звук, произведенный фистулой, может, по их мнению, выйти более чистым и прекрасным, – трудно даже и представить себе, до какой степени такие молодцы грешат против искусства своею грубою неумелостью.

Театр часто вступал в борьбу с церковной кафедрой⁵. Казалось бы мне, что они бы не должны враждовать друг с другом, желательно бы было, чтобы и тут и там Бог и природа прославлялись только истинно благородными людьми. Это не мечты, дорогая моя! Как у сердца твоего я мог почувствовать, что

⁵ От церковной кафедры и в своих сочинениях особенно ратовал против мнимой безнравственности немецкой сцены тот самый гамбургский пастор Гёте, который опозорил себя полемикой против Лессинга и которого великий критик совершенно уничтожил своими ответами. Есть мнение, что Гёте послужил Лессингу материалом для изображения патриарха в «Натане Мудром».

ты любишь, так хватаюсь я за блистательную мысль и говорю... не хочу высказывать, но хочу надеяться, что мы некогда явимся людям четою добрых гениев, чтобы раскрывать их сердца, трогать их души и готовить им небесные наслаждения, – как находил я на твоей груди блаженство, которое всегда должно быть называемо небесным, потому что в эти минуты мы выходим из самих себя, чувствуем себя парящими над собою.

Не могу, однако, закончить; я уж слишком много сказал – и не знаю, все ли высказал, что тебя касается, ибо никакими словами не могу я выразить движений колеса, которое вертится у меня теперь в сердце.

Прими же это письмо, любовь моя! Я его еще раз перечел и нахожу, что должен бы начать его сызнава, однако же оно содержит в себе все, что тебе необходимо знать, что должно быть для тебя предуготовлением к тому близкому времени, когда я снова возвращусь в твои объятия со всем веселием сладчайшей любви! Я теперь кажусь себе пленником, который в темнице своей, прислушиваясь к каждому шороху, подпиливает свои оковы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.